

КОМСОМОЛ

Сборник статей

Издательство ЦОПЭ

КОМСОМОЛ

Сборник статей

(Воспоминания бывших комсомольцев)

Издательство Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен

1960

Книга впервые издана в 1959 году на английском языке Институтом по изучению СССР в Мюнхене — «Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От редакции	7
А. Авторханов. Комсомол (краткий исторический очерк)	9
Н. Лунев. Ослепленный верой в светлое будущее . .	33
Н. Бочаров. В уездном захолустье	57
В. Гришко. В комсомоле на положении «зайца» . . .	79
О. Красовский. Так начиналась жизнь	111
Н. Мельников. Дорога в «большую жизнь»	151
А. Дудина. Потерянные годы	175

ОТ РЕДАКЦИИ

За последние годы в литературе свободного мира появилось уже немало работ о Советском Союзе. Западный читатель смог ознакомиться с различными монографиями, сборниками и справочниками, посвященными исследованию тех или иных сторон советской жизни.

Однако, надо сказать, что эти исследования зачастую неравномерно освещали советскую действительность. Например, изучению советской экономики уделялось больше внимания, чем чрезвычайно актуальным вопросам образования и науки в СССР.

Очень мало работ было опубликовано в свободной прессе о комсомоле — советской молодежи, входящей в так называемый Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи — ВЛКСМ. А между тем комсомол играет очень большую роль в жизни советской молодежи. Он насчитывает огромную армию комсомольцев — в 1958 году в нем состояло 18.000.000 человек.

Целью настоящего сборника является освещение таких вопросов, которые в особенности интересуют западного человека — какую роль играет комсомол в советской диктатуре, как комсомол влиял на образ жизни, мировоззрение, чувства и поведение своих членов.

В сборнике приняли участие и поделились своими безыскусственными воспоминаниями 6 бывших комсомольцев. Перед авторами была поставлена задача — дать свои воспоминания возможно правдивей.

Авторы в своих воспоминаниях, согласно замыслу составителей сборника, должны были исходить не из сегодняшнего своего понимания комсомола, а из того, как они понимали комсомол во время своего пребывания в нем. Авторы должны были просто и ясно изложить все, что помнят они из своего личного опыта пребывания в комсомоле, что они переживали и пережили, чтобы можно было видеть,

как комсомольцы смотрели на комсомол и как комсомол влиял на своих членов.

Помимо воспоминаний бывших комсомольцев, в сборнике помещен, как вводная глава, краткий исторический очерк — «Комсомол». Автором очерка является Абдурахман Авторханов (он же — Александр Уралов, А. Кунта).

А. Авторханов родился в 1908 г. в Грозном (Чечня) на Северном Кавказе. Окончил Институт красной профессуры в Москве в 1937 году; историк, написал ряд книг по истории революции на Северном Кавказе. Положил начало дискуссии по национальному вопросу накануне XVI съезда ВКП(б) своей статьей в газете «Правда» («Правда» с 22 июня по 4 июля 1930 г.) В эмиграции написал ряд работ на общие и специальные темы.

А. АВТОРХАНОВ

Комсомол

(Краткий исторический очерк)

Всякая революция — взрыв молодости при самом активном участии молодежи, независимо от политических планов ее руководителей. Такой была и большевистская революция в октябре 1917 года. Ее непосредственные военные организаторы в Петрограде были людьми моложе тридцати лет, ее высшие политические руководители — около тридцати лет, только один Ленин был старше сорока лет.

То же самое относится и к последовавшей за революцией гражданской войне. В этой войне противостояли друг другу не только старая и новая Россия в смысле духовном, но и старая и новая Россия в смысле физическом. Руководителями Белой армии были царские генералы, старики под шестьдесят лет и выше, а Красной армией командовали поручики, подпоручики, унтерофицеры, вахмистры, а во многих случаях просто молодые гражданские лица. Маршал Тухачевский командовал армией, когда ему было 25 лет, фронтом (против Деникина, а потом против Пильсудского), когда ему было 27 лет. Командарм I ранга Уборевич командовал армией, когда ему было около 22 лет. Командарм I ранга Федько командовал армией и фронтом в возрасте 21 года! (В «великую чистку» 1937—1939 гг., как эти названные лица, так и другие руководители Красной армии были расстреляны). Полками и дивизиями Красной армии собственно и командовали лица комсомольского возраста. И все-таки Красная армия победила. В чем дело, где тут «военная тайна»?

Тайна в том, что побеждала молодость. Дерзание юности, желание подвига, жажда приключений, неосмысленная жертвенность во имя столь же неосмысленных и абстрактных идеалов, — таковы атрибуты революционной молодости. Комсомольская молодежь периода революции и гражданской войны была именно таковой. Эти качества молодости, умело использованные образцовой машиной большевистской пропаганды, делали то, что потом сами большевики называли «революционными чудесами». Поэтому, когда в годы гражданской войны, часто встречались надписи на комсомольских зданиях: «Райком закрыт. Комсомольцы ушли на фронт» — это не было простым пропагандным трюком. Действительно, комсомольцы массами уходили на фронт из городов, чтобы воевать «против буржуев» и за рабочую власть, «за III интернационал», из деревень, чтобы воевать «против помещиков» и «за землю, за волю, за хорошую долю».

Мобилизации комсомольцев объявляли сами комсомольские комитеты для всех возрастов, начиная с 15 лет. Это были действительно добровольцы, так как комсомол объявлял мобилизацию только для лиц, не подлежавших призыву в армию. Первую мобилизацию объявил II съезд комсомола, который записал: «Для защиты республики и обслуживания фронта и тыла Красной армии произвести мобилизацию членов союза от 16 лет»¹⁾. Известный комсомольский писатель Н. Островский, автор книги «Как закалялась сталь», писал, что «вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и 200 патронов»²⁾. Кто отказывался ехать на фронт, просто возвращал свой комсомольский билет. Но таких оказывалось мало, их подвергали моральному бойкоту, объявляли всенародно трусами и дезертирами революции. В прифронтовых губерниях на фронт уходили все комсомольцы, комсомол тыловых губерний посылал до 30% своего состава на фронт. Но и из этих губерний нередко поступали заявления от добровольцев. В одном из таких заявлений мы читаем: «Мы еще юноши, нам кому 15, кому 16 и 17 лет, но у нас загорелось пламя борьбы против белых паразитов и мы готовы хоть сейчас отправиться в бой»³⁾.

Сами старые большевики были в восторге от успехов своей пропаганды среди комсомольцев. Так, например, Киров

¹⁾ Перечень использованных материалов — в конце статьи.

говорил: «И те из нас, которые тогда были на фронте, те помнят, какую громадную, я бы сказал, исключительную роль сыграл тогда комсомол. Надо, товарищи, прямо сказать, что мы, большевики, вообще говоря, народ, который умеет бороться не щадя своей жизни, и то иной раз с «завистью» смотрели на героев, которых давал тогда комсомол»⁴).

Большевистская партия была единственной политической партией России, которая с самого начала русской революции повела работу среди рабочей молодежи, среди солдат, среди студенчества, чтобы политически и организационно взять молодежь под опеку партии. Нейтральных аполитичных организаций молодежи для большевиков не существовало. В тот период Ленин писал: «Молодежь студенческая и еще больше рабочая молодежь решит исход всей борьбы»⁵). Организация молодежи должна была служить той же цели, какой служит и сама партия. Накануне октябрьской революции, на VI съезде партии (август 1917 г.) вопрос «О союзах молодежи» обсуждался специально. С докладом выступил Н. Бухарин. В резолюции, принятой по его докладу, указывалось, что в условиях, когда началась «непосредственная борьба за социализм» (речь шла о подготовке вооруженного восстания большевиков), партия должна уделить созданию революционных, большевистских союзов молодежи «максимум внимания»⁶).

Однако, создать централизованную коммунистическую организацию молодежи большевикам удалось только через год после своей победы — в октябре 1918 года. До этого существовали разные революционные организации молодежи, в том числе близкие к меньшевикам, эсерам, анархистам или «нейтральные». Об этом говорит и разнообразие в наименовании молодежных организаций, которые существовали до создания Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ): «Социалистический союз рабочей молодежи», «Союз рабочей молодежи — III интернационал», «Крестьянский социалистический союз молодежи», «Союз крестьянской молодежи — III интернационал», «Союз молодежи», «Новый студент», «Пробуждение» и т. д. Ни один из союзов молодежи, даже из находящихся под опекой большевиков, все еще не хотел называться «коммунистическим», несмотря на то, что сами большевики уже с начала 1918 года именовали

себя не социалистами, а коммунистами («надо бросить старую грязную рубашку» — писал Ленин о названии социал-демократ или «социалист», в апрельских тезисах 1917 года, а молодежь охотно надевала ее).

Российский Коммунистический Союз Молодежи (сокращенно РКСМ, комсомол) был создан на I съезде рабочей и крестьянской молодежи, который состоялся в Москве с 29 октября по 4 ноября 1918 года. На съезде присутствовало 176 делегатов от тех союзов молодежи, которые находились под руководством партии большевиков, а от меньшевистских союзов были персонально приглашены только те лица, которые считались сочувствующими большевикам.

Однако, при заполнении анкет на самом съезде, на вопрос «к какой партии вы принадлежите или сочувствуете?», делегаты ответили далеко не одинаково: 88 человек ответили, что они коммунисты, 45 человек заявили, что они «беспартийные» (в тех условиях это означало, что они не сочувствуют коммунистам), 38 человек оказались «сочувствующими» советской власти, 3 социал-демократами, 1 эсером, 1 «анархистом-индивидуалистом»⁷⁾. Не было единодушным и решение съезда о наименовании союза молодежи. При голосовании вопроса — назвать учреждаемый союз молодежи «РКСМ» — против голосовало 6 делегатов, и воздержалось 17. Зато единогласно было принято решение, что новый «союз является независимой» от партии большевиков организацией⁸⁾.

Не прошло много времени, как это решение I съезда РКСМ было аннулировано Центральным Комитетом партии большевиков. В августе 1919 года ЦК РКП и находящийся в его руках аппарат ЦК РКСМ выпустили совместное постановление, в котором говорилось: «ЦК РКСМ находится в непосредственном подчинении ЦК РКП. Местные же организации РКСМ работают под контролем местных комитетов»⁹⁾. Осуществить это решение удалось не сразу и не так легко. В ЦК комсомола были люди из числа организаторов РКСМ, которые упорно и весьма настойчиво сопротивлялись ликвидации самостоятельной молодежной организации. К такой группе принадлежали члены ЦК и руководящие работники комсомола Дунаевский, Полифем, Яковлев и другие. Когда эта группа убедилась, что самостоятельность

комсомола уже невозможно спасти, она попыталась организовать новый «Союз Советов рабочей молодежи», а при профсоюзах создать специальные «секции молодежи» для защиты интересов «трудящегося юношества России»¹⁰). Позиция группы Дунаевского была осуждена в постановлении ЦК РКП в сентябре 1920 года, как антипартийные действия и «юношеский синдикализм». Члены группы были сняты со своих постов в ЦК комсомола (через голову и без опроса самого комсомола), а сам Дунаевский, как лидер группы, исключен из партии. Однако оппозиция в РКСМ этим не была ликвидирована. Как раз накануне III съезда РКСМ (1920 г.) она все более настойчиво выступает за независимость молодежных организаций, против превращения комсомола в бюрократический придаток партии.

В РКСМ возникают и чисто национально-коммунистические оппозиции. Наиболее влиятельной политической и многочисленной по составу была украинская оппозиция в комсомоле. Ее возглавляла потомственная пролетарская организация — комсомол Донбасса. Украинская комсомольская оппозиция выдвигала два требования: 1) независимость украинского комсомола от РКСМ, 2) независимость комсомола от партии¹¹). Как и в самой партии, судьба каждой оппозиции в РКСМ предрешалась аппаратом партии — одних исключали из партии и комсомола, других снимали с работы, третьих выселяли в отдаленные губернии.

Победа партийного аппарата над комсомолом убила то, чем комсомол был до сих пор велик и значителен: **внутренний динамизм**. Отсюда обозначился и кризис в комсомоле — потеря веры в коммунистические идеалы, результатом чего был массовый уход из комсомола, превращение бывших революционеров в «добродушных мещан», бегство от политики в быт, рост пьянства, хулиганства, разгул пессимизма, пока, наконец, дело не дошло до знаменитой «есенинщины». Антикоммунистическая лирика «кулацкого поэта» Есенина, его «Москва кабацкая», «Исповедь хулигана». Есенин, который писал с великой скорбью о погибающей при большевиках старой Руси, Есенин-романтик вчерашней России, становится поэтическим пророком, бунтарским знаменем разочаровавшейся в коммунизме молодежи. Этот кризис в комсомоле в 20-х годах довольно наглядно характеризуют данные о росте комсомола в те годы. Вот они:

Годы	Число членов РКСМ	Годы	Число членов РКСМ
1918	22 000	1921	400 000
1919	90 000	1922	247 000
1920	400 000	1923	284 000

(интересно, что во втором издании БСЭ, т. 8, стр. 258, в статье о комсомоле данные за 1922 г. вообще не указываются, а за 1923 г. дается фальсифицированное число в 700 000 человек). Таким образом, в 1920 и 1921 г. г., то есть в те годы, когда гражданская война кончилась триумфом коммунистов, приостановился приток в РКСМ, а через год — в 1922 году — из комсомола ушло около одной трети его состава (более 150 000 человек). Таков был ответ идейных комсомольцев на покорение комсомола аппаратом партии. В большинстве это были те комсомольцы, которые «вместе с комсомольским билетом получали ружье и 200 патронов». Повлияли на кризис и те социальные процессы, которые происходили в партии и в стране.

Бывшая партия революционеров, получив власть и уничтожив старые господствующие классы, сама начала превращаться в новый господствующий класс, но уже более жадный, более жестокий и менее разборчивый в своих методах эксплуатации и правления. Пролетариат приобрел лишь новых хозяев, но ярмо осталось старое. Крестьяне получили землю, но хлеб забирался государством. Все те гражданские свободы, которые дала февральская революция, оказались начисто уничтоженными. Партия, которая когда-то написала на своих знаменах самые широкие политические свободы, социальное равенство и непримиримую борьбу против всех форм тирании и произвола, начала править страной не на основе народного, пусть даже «пролетарского» волеизъявления, а просто по собственному усмотрению и в интересах одной лишь коммунистической партии. Те же матросы Балтийского флота, которых Ленин называл «гордостью революции» и которые действительно вручили ему власть, — теперь восстали против него. Так произошло известное Кронштадтское восстание 1921 года. Среди восставших были коммунисты и комсомольцы. Восстание не было направлено против советской власти. Лозунг восстания гласил: «За Советы без коммунистов». Ленин увидел в этом лозунге, в его социаль-

но-политическом смысле величайшую потенциальную опасность для господства коммунизма. Тем более велика была жестокость по подавлению самого восстания. Но восставшие все-таки вынудили у партии большевиков НЭП — новую экономическую политику. Это было первое, самым Лениным признанное, поражение теоретической доктрины коммунизма. Пришлось допустить в стране частный капитализм наряду с государственным капитализмом. Обещанный коммунистический «рай на земле» оказался пустословием, фикцией. Все это тоже повлияло на идейный разлад и разложение старого, революционного комсомола.

В годы внутрипартийных дискуссий политически мыслящая часть комсомола неизменно выступает на стороне оппозиций. Первый раз это было во время «левой оппозиции» Троцкого 1923-1924 г. г. Троцкий был первым человеком в партии, который еще тогда разгадал «тайну» организационного плана Сталина: поставить аппарат над партией. Троцкий доказывал, что цель сталинцев не идейно-думающая партия, а «пассивное послушание», «механическое равнение по начальству», «аппаратный централизм». «Партийный аппарат, несмотря на идейный рост партии, продолжает упорно думать и решать за нее»; «партия должна подчинять себе свой аппарат», — так писал Троцкий в брошюрке «Новый курс»¹³). Троцкий считал, что выправить этот курс аппаратной диктатуры над партией удастся только партийной молодежи. Отсюда лозунг Троцкого: «молодежь — вернейший барометр партии». Особенные надежды возлагал Троцкий на учащуюся молодежь. «Учащаяся молодежь, — писал Троцкий, — вербуемая из всех слоев и прослоек советской общественности, отражает в своем пестром составе все плюсы и минусы наши, и мы были бы тупицами, если бы не прислушивались внимательнейшим образом к ее настроениям... И совершенно напрасно сейчас наиболее ретивые аппаратчики фыркают на молодежь. Она наша проверка и наша смена, и завтрашний день за ней»¹⁴).

Наибольшего успеха именно среди молодежи, в частности среди студенчества, Троцкий добился своей дискуссией с «тройкой». Так во время опроса партии в Москве (декабрь 1923 и январь 1924 г.) из 72 партийных ячеек в высших школах столицы за ЦК высказались 32 (2 790 человек), а за оппозицию 40 (6 594 чел.)¹⁵). Приблизительно такая же была картина и на местах. Она могла бы оказаться просто катастрофи-

ческой для аппарата ЦК, если бы партия и комсомол знали, что в сейфе ЦК лежит «Политическое завещание» умирающего Ленина с требованием немедленно снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК за «грубость, нелояльность, капризность».

Таковы были политические факторы, которые влияли на углубление идейного разлада, организационного ослабления и психологического кризиса в рядах РКСМ. Пользуясь смертельной болезнью Ленина, XIII партконференция под руководством «тройки» осудила Троцкого и партийную молодежь. На XIII съезде партии (1924), уже после смерти Ленина, это осуждение было повторено — отныне проповедь точки зрения Троцкого считалась несовместимой с принадлежностью к партии. В ответ на поведение партийного студенчества XIII партконференция постановила «закрыть прием в партию всех непролетарских элементов»¹⁴), а «непролетарскими элементами» считалась учащаяся молодежь. Вскоре пошли и репрессии — студентов, голосовавших за оппозицию, начали пачками исключать из высших школ, невзирая ни на какие их заслуги во время гражданской войны. Одновременно стараются придать комсомолу внешнюю «импозантность», «революционность», «интернациональность». Для этой цели на IV съезде РКСМ (1924) комсомолу присваивается имя Ленина. Теперь комсомол называется «Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи» (РЛКСМ). На VII съезде (март 1926) слово «Российский» заменяется словом «Всесоюзный», в результате утвердилось нынешнее название комсомола — «ВЛКСМ» (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи).

Второй оппозицией внутри партии, в которой участвовал комсомол, была «новая оппозиция» Зиновьева и Каменева 1925 года. Главная база как партийной, так и комсомольской оппозиции находилась в Ленинграде.

Осудив Троцкого и сочувствующую ему молодежь, используя в этом деле зиновьевцев, Сталин приступил теперь к подготовке ликвидации врагов «второй очереди» — зиновьевцев. Зиновьевцы ответили организацией новой оппозиции. На XIV съезде партии Зиновьев выступил с политическим «со докладом» против Сталина и его аппарата (обвинения против Сталина были по существу те же, что и троцкистское обвинение). Зиновьев и Каменев были поддержаны всей комсомольской организацией Ленинграда. Ленинград-

ский комсомол выдвинул и свои собственные обвинения против сталинского аппарата ЦК партии и ЦК комсомола. Ленинградцы говорили о «перерождении комсомола», о сдаче комсомолом «октябрьских позиций», о необходимости создания «равноправия партии и комсомола». Интересно, что среди тех немногих ленинградских комсомольских работников, которые остались верны Сталину и выступали против Зиновьева, был и будущий убийца члена Политбюро Сергея Кирова — член Ленинградского Губернского комитета комсомола Леонид Николаев. Комсомольская оппозиция, как и партийная оппозиция Зиновьева, была разгромлена. Весь состав Губернского комитета комсомола Ленинграда был распущен (во время процесса Николаева в 1935 г. все члены руководства комсомола тех лет были расстреляны). Так кончается первый этап истории комсомола, а именно революционного **политического** комсомола. Начинается второй этап истории комсомола — история сталинского «бытового» комсомола. Этот второй этап как раз и совпадает по времени с победоносным восхождением Сталина к единоличной диктатуре.

Отныне комсомол уже не занимается «политикой». Политика — это дело партии, вернее аппарата партии. Комсомолу отводится роль «резерва партии, помощника партии», роль инструмента в руках партаппарата по духовному покорению советской молодежи. Перед комсомолом ставятся новые, более утилитарные задачи — комсомол должен быть исполнителем хозяйственных решений партии и школой коммунистического воспитания молодежи. Пафос индустриализации, подвиги на трудовом фронте, героика освоения новых районов, — вот что проповедует партия теперь в комсомоле. Партийный аппарат культивирует «социалистический» труд, как «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» (Сталин). Но все это делается, конечно, во имя строительства «социализма», хотя бы в одной стране. Одновременно молодежь призывается и в поход за науку. Лозунг Ленина на III съезде комсомола «учиться, учиться и еще раз учиться» выдвигается как один из важнейших лозунгов. Быстрая индустриализация страны требует не просто грамотных людей, а специалистов разных отраслей техники. Отсюда Сталин выдвигает новый лозунг: «Техника в период реконструкции решает все — большевики должны овладеть техникой». Расширяется сеть технических школ, увеличиваются нормы приема учащихся и количество государственных стипендий. Во

всех новых начинаниях — на новостройках, в освоении новых районов и строительстве новых городов, на учебе в школах, в «культпоходе» в деревню для ликвидации неграмотности среди крестьянства, в «ударничестве и соревновании» по выполнению учебных или производственных норм, — комсомол находит применение своей энергии. Большевикам удается привить части комсомольской молодежи и пафос «нового строительства» и «героики труда». Стахановское движение вовсе не было лишь одной принудительной потогонной системой (таковой оно тоже было), не случайно оно и родилось в честь Международного Юношеского Дня на молодежном участке шахты «Центральная Ирмино» в Донбассе. Об успехах большевиков в этой области говорят и публикуемые в этом сборнике мемуары бывших комсомольцев.

Соответственно тем задачам, которые сталинский аппарат отводил комсомолу, растет и его численность. Еще VII съезд комсомола (1926) выдвигает требование «стопроцентного охвата комсомолом рабочей молодежи». Та же задача ставится и в отношении бедняцкой молодежи в деревне. Дети середняков принимаются с большим разбором, а дети кулаков или бывших кулаков не имеют доступа в комсомол.

Вот динамика роста комсомола за сорок лет его существования¹⁷⁾:

Годы	Число комсомольцев	Годы	Число комсомольцев
1918	22 000	1926	890 000
1919	90 000	1927	1 055 000
1920	400 000	1928	2 000 000
1921	400 000	1931	3 000 000
1922	247 000	1936	4 000 000
1923	284 000	1949	9 300 000
1924	406 000	1954	18 825 000
1925	520 000	1958	18 000 000

В годы первых пятилеток комсомол, по примеру гражданской войны, производит мобилизации своих членов на стройку новых заводов Урала и Сибири, на лесорубки и лесозаготовки на Север, на подземные работы в шахтах Донбасса, в джунглях Дальнего Востока комсомол строит город Комсомольск-на-Амуре, а в Москве — метро. Даже там, где сталинский режим больше всего ненавистен, — в деревне, ком-

сомол выдвигает своих героев (Мария Демченко, Паша Ангелина, Константин Борин). Успешным был и «поход за науку». За первую и вторую пятилетку из числа комсомольцев и молодежи было подготовлено 118 000 инженеров и техников, 69 000 специалистов сельского хозяйства, 800 врачей, 91 000 учителей¹⁸⁾. Сейчас в комсомоле 500 000 инженеров и техников, 85 000 агрономов и техников. 97% аппаратного актива комсомола имеет высшее и среднее образование¹⁹⁾.

Во время борьбы Сталина против оппозиции и в годы первых пятилеток во главе комсомола стояли как «генеральные секретари» последовательно Н. Чаплин, А. Мильчаков и А. Косарев. Этим лицам и их помощникам по ЦК комсомола Сталин был обязан тем, что комсомол не только сделался послушным инструментом в руках партаппарата, но явился и той «школой резервистов», откуда этот аппарат черпал своих наиболее верных функционеров нового типа: нерассуждающих исполнителей воли аппарата (классические представители этого типа нынешние «почетные члены» ВЛКСМ — бывшие «генеральные секретари» второго призыва — Н. Михайлов, А. Шелепин, В. Семичастный).

Особенно много поработал для Сталина Косарев и его ЦК комсомола. Все новые начинания, все новые мобилизации на «великие стройки социализма», «стахановское движение», «культпоход», поход за коллективизацию и создание колхозов (в 1929-30 гг. комсомольцами было создано 5 000 колхозов, 93% всех деревенских комсомольцев состояли в колхозах²⁰⁾), все это партия перекладывала на молодежь, на физически сильные плечи своего «помощника», на комсомол, а Косарев и его друзья помогали, помогали искренне и фанатично Сталину запрячь в это дело «строительства социализма» комсомол и молодежь вообще. И Сталин оценил эту работу Косарева. На XVII съезде партии (1934) Косарев был не только избран членом ЦК ВКП(б), но и введен в состав членов Оргбюро ЦК. Второй раз Сталин оценил работу Косарева в ноябре 1938 г. В ноябре был созван специальный пленум ЦК ВЛКСМ, которым руководил лично Сталин и на котором был арестован весь состав секретариата и бюро ЦК ВЛКСМ во главе с Косаревым, как «враги народа». Официальный источник указывает, что под руководством Сталина этот «пленум изгнал предателей и отщепенцев, пробравшихся в комсомол»²¹⁾. «Предатели и отщепенцы» не были просто изгнаны. Они были посажены в подвал НКВД как «шпио-

ны, вредители и террористы». Так было создано «дело группы Косарева» (куда входили секретари ЦК ВЛКСМ Лукьянов, Горшенин, Файнберг, Вершков, Васильева и др.). Арестованы были и бывшие «генеральные секретари» комсомола — Чаплин и Мильчаков, руководители коммунистического интернационала Шацкин, Чемоданов, Ломинадзе и др. После длительных физических пыток как Косарев, так и члены его группы были расстреляны, о чем с таким знанием дела докладывал Хрущев на XX съезде партии²²). Каким-то чудом был оставлен в живых и через 20 лет вышел из концлагеря из всех старых комсомольцев только один Мильчаков. На XIII съезде ВЛКСМ А. Шелепин в своем отчетном докладе официально реабилитировал Косарева и его «группу». Шелепин заявил: «Говоря о воспитании, нельзя также забывать о том вреде, который нанес культ личности. Длительное время молодежь воспитывалась на книгах, фильмах, постановках, насквозь пропитанных культом личности... Тяжелый ущерб комсомолу был нанесен, когда было сфабриковано так называемое «дело Косарева». Как теперь установлено, для этого не было никаких оснований»²³). Чистка в комсомоле не ограничилась одним центром. Так же как и в Москве, во всех союзных республиках, автономных республиках, во всех областях и краях все руководящие верхушки (секретари, члены бюро) были арестованы. Для всех арестованных комсомольских групп типично было одно и то же обвинение: «подготовка террористических актов против руководителей партии и правительства». Все это шло от выстрела бывшего комсомольского работника Леонида Николаева в Кирова. Разумеется, среди этих тысяч арестованных комсомольских руководителей не было николаевых, но Сталин, вероятно, считал каждого комсомольского активиста потенциальным террористом.

Так полным разгромом руководства в центре и на местах кончился второй этап в истории комсомола. Организационный разгром аппарата комсомола и замена его совершенно новыми, неопытными, но зато еще более преданными «великому гению, мудрому учителю и доброму отцу» молодыми людьми сопровождался глубоким психологическим кризисом внутри комсомольской массы, особенно среди учащейся молодежи. И об этом весьма красноречиво говорят опубликованные в этом сборнике мемуары бывших комсомольцев.

Таково было положение в комсомоле и в стране, когда

Гитлер объявил войну СССР. Первые же месяцы войны показали, какой ненавистью пользовалась система Сталина именно среди молодежи. Красная армия, состоящая почти на 70% из комсомольской молодежи и коммунистов, хорошо вооруженная (по свидетельству немецкого генерала Гудериана советские танки были лучше и больше немецких), но обезглавленная сталинской чисткой, не хотела воевать за власть Сталина. Миллионы красноармейцев начали бросать оружие, переходить на сторону врага или без особенного сопротивления отступать в глубь страны. Немецкая армия через каких-нибудь три-четыре месяца подошла к окраинам Москвы, а в следующем 1942 г., заняла Северный Кавказ и подошла к Волге. Не своей «мудрости», а недалекости Гитлера, жестокой, антирусской, антинародной политике его политических органов в занятых немцами областях, массовому, бесчеловечному уничтожению, главным образом голодом, военнопленных, — вот чему был обязан Сталин, что русский народ так сурово и жертвенно повернулся против Гитлера. И тут главная тяжесть, главные жертвы несла молодежь. Грубейшие политические просчеты гитлеровского ведения войны мастерски были использованы советской пропагандой. Илья Эренбург писал, что «в Германии невиноваты лишь собаки и неродившиеся дети». Поэтому «убивайте каждого немца». Характерно, что советская военная пропагандная машина не только интенсивно культивировала ненависть русского народа к системе Гитлера как к «фашистской системе», но еще больше старалась культивировать в русских ненависть к немцам как к народу сплошь фашистскому. Отсюда советская пропаганда делала особый упор на личные успехи советских террористов и партизан в тылу врага и советских снайперов на фронте. «Снайпер Смоляков за свою короткую жизнь выпустил 126 пуль и убил 125 фашистов, комсомолка Людмила Павлюченко уничтожила 309 гитлеровцев, снайпер комсомолка Нина Онилова своим «максимом» уничтожила более 2 000 вражеских солдат», — таковы характерные формулы советской пропаганды, призывающие к индивидуальным «рекордам» по убийству²⁴). Словом сталинская пропаганда достигла своей цели — советская молодежь показала, что она может воевать, если к этому ее принуждает сам внешний «освободитель».

Как и в годы гражданской войны, комсомольцев посылают на наиболее опасные участки войны. Но НКВД пользуется

комсомолом и для организации в тылу немцев террористических, диверсантских, вредительских, шпионских и партизанских групп. «Партизанские отряды на 60% состояли из молодежи. Только за первые два года Отечественной войны партизаны истребили 300 000 гитлеровцев, взорвали и сожгли 895 складов, разрушили 3 263 железнодорожных и шоссейных мостов... К сентябрю 1943 г. на вражеских коммуникациях действовало более 1 300 комсомольских диверсионных групп»²⁵). НКВД и советское правительство ставили перед этими группами и чисто провокационные цели: убийствами немцев на улицах деревень и городов, на дорогах между ними, сознательно провоцировались контррепрессии немцев, чтобы обозлить народ. Даже больше. Партизанские и диверсионные группы должны были систематически уничтожать хлеба у крестьян, чтобы вызвать искусственный голод в оккупированных районах. Цитированный источник прямо признает этот факт: диверсионная группа в Николаевской области «распространяла листовки, срывала сельскохозяйственные работы»²⁶), или другая знаменитая «Молодая гвардия» (она описана писателем Фадеевым в одноименном романе) в Краснодаре (Донбасс) занималась тем, что «молодогвардейцы жгли хлеб, угоняли скот, поджигали биржу труда»²⁷). Подвиги комсомола как чисто военные по защите родины, так и чисто уголовные даже против собственного народа в тылу немцев, были широко оценены правительством. Более 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медалями СССР. Из 11 тысяч героев Советского Союза 7 тысяч бывших комсомольцев. Из тех, кто работал в тылу у немцев, 99 комсомольцев получили звания Героев Советского Союза, а 50 тысяч награждены орденами и медалями²⁸). Весь комсомол в целом был награжден в 1945 г. третьим орденом Ленина за заслуги в войне.

Нельзя думать, что все они стали героями и орденосцами по доброй воле. Советское правительство применяло такие методы, которые делали людей героями и против их собственной воли. Один метод применялся на фронте, а именно на передовых позициях: отправляя в очередные атаки воинские части, правительство выставляло тут же «заградительные отряды» войск НКВД, которые открывали пулеметный огонь по отступающим. Если даже отступление оказывалось неизбежным и оправданным, то и такое отступление не допускалось. Сохранился протокол комсомольского собрания

дивизии генерала Гурьева, посвященный данному вопросу. Вот характерное место из этого протокола: **«Вопрос к докладчику.** Существует ли уважительная причина ухода с огневой позиции? **Ответ.** Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть»²⁹). Другой метод применялся в оккупированных немцами районах. Во главе всех партизанских и шпионо-диверсионных групп ставились проверенные чекисты. Эти чекисты производили вербовку людей в свои местные подрывные группы из гражданского населения под угрозой личного уничтожения (что нередко и делалось) или под угрозой репрессии семей и родственников, находящихся на советской территории. Этот метод тоже показал себя вполне действенным.

Свое значение имела и реабилитация советской пропагандой русских исторических героев — Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова и др. Для той же пропагандной цели была амнистирована церковь, освобождены оставшиеся в живых духовные лица. В том же плане был распущен Коминтерн. Русский человек должен был думать, что ведется не только справедливая оборонительная «Отечественная война», но что после победоносной войны все изменится к лучшему. НКВД перестанет существовать, колхозы будут распущены, в стране будут объявлены широкие гражданские свободы. Замечательнее всего было то, что за распространение таких слухов НКВД никого не арестовывало. То была, вероятно, «черная пропаганда» того же НКВД в целях морально-политического сплочения народа против Германии. Триумф народов СССР над Германией оказался триумфом сталинской системы над этими народами. Не прошло и несколько лет после победы, как Сталин начал готовиться к новой великой чистке (кампания против «космополитов», «низкопоклонников», опала видных полководцев Советской армии, «Ленинградское дело», «дело группы кремлевских врачей»). Ожидаемых материальных улучшений тоже не последовало. Герои «Отечественной войны», калеки с многочисленными орденами и медалями, разбрелись по великим просторам страны, прося милостыню на существование. Месячные пенсии благодарного правительства едва покрывали скромный индекс жизни на неделю. Таков был третий этап в истории комсомола.

Период после смерти Сталина был периодом больших ожиданий и больших надежд. Впервые после двадцатых го-

дов среди молодежи, особенно среди учащейся комсомольской молодежи, заметно пробуждение интереса к «большой политике». После разоблачения Сталина на XX съезде этот интерес к политике начал принимать и некоторые активные формы. Именно комсомольская молодежь поняла разоблачение Сталина как начало новой эры в истории страны, как начало либерализации режима в области политической и духовной жизни. Как раз комсомольские писатели, выступили с первыми критическими, «крамольными» произведениями (Дудинцев, «Не хлебом единым», Евтушенко, «Станция Зима», Градин, «Особое мнение» и др.). Молодые писатели и критики в книгах и в литературно-критических выступлениях начали требовать больше творческой свободы, а некоторые даже открыто отвергли пресловутый «социалистический метод», как единственный творческий метод в советской литературе. Сам главный редактор ведущего журнала в литературе «Новый мир» К. Симонов не только напечатал, названный роман Дудинцева, но и выступил в весьма смелой статье с критикой как «социалистического реализма», так и сталинских нравов литературного начальства от партии. Еще более острой, по сообщениям советской прессы, оказалась устная критика на собраниях писателей, студенчества и комсомольских организаций. Люди сами, в явном порядке и без согласия партийного аппарата, начали впервые за 30-35 лет говорить друг другу **истинную правду** и называть вещи своими собственными именами.

Первое брожение среди писателей после смерти Сталина было ликвидировано разгромом редакции журнала «Новый мир» и публичным осуждением многих писателей. Но оно вновь усилилось после XX съезда. Во многих печатных органах писатели-коммунисты развернули то скрытую, то явную критику не столько личности Сталина, сколько сталинских порядков. В главном философском журнале СССР — «Вопросы философии» критики Б. Назаров и О. Гриднева выдвинули лозунг³¹): «Поменьше руководства, побольше практического дела». Центральная мысль авторов — художественная литература не может существовать без творческой свободы. Б. Назаров и О. Гриднева обосновывали эту свою мысль следующим утверждением³²):

«Чем выше культурный уровень человека, тем сильнее в нем стремление разбираться во всем самостоятель-

но, тем сильнее он будет отстаивать право обо всем судить».

Но как раз в связи с венгерскими событиями, в которых писатели сыграли столь видную роль, партийная печать начала новый поход против возможных «еретиков» среди советских писателей. Против вышеназванных критиков «Правда» опубликовала даже отдельную статью³³), в которой говорилось, что «мы отвергаем ту часть статьи, которая по существу направлена против руководства партии и государства». Вскоре «Правда» вернулась к тому же вопросу, на этот раз уже против украинских писателей³⁴). В очередной статье говорится, что есть люди, которые, «прикрываясь лозунгом борьбы с культом личности, стараются протянуть чуждые политике партии и государству идейки. Отдельные вредные антипартийные высказывания имели место со стороны украинских литераторов».

Подобная же «обработка» писателей происходила и в Москве. И писатели насторожились, словно вновь ожили Сталин и Жданов. Общее настроение их довольно образно передал народный артист СССР режиссер Н. Охлопков в той же газете «Правда»³⁵):

«И нам надо помнить сейчас, обязательно помнить: как бы не притушить подлинное творческое состояние людей искусства какими-либо неловкими бюрократическими повадками, неуклюжими повторениями средств такого «воспитания» художников, после которого уже не хочется творить. Свежий, вольный воздух в нашей стране. Пусть в творчестве все будет подчинено неустанным поискам, открытиям, исследованиям».

Но Н. Охлопков все-таки остается пессимистом:

«Увы, новые задачи некоторых застали врасплох... Другие, правда, очень оживились, взволновались, заспорили, размечтались по поводу открывающихся для искусства **необычайных** перспектив. Но на деле, как очень «опытные» люди, они терпеливо выжидают, когда снова можно будет спрятаться за какую-либо обтекаемую формулировку социалистического реализма. Третьи ждут: «А ну, кто начнет первый, проверить бы сначала надо».

То же можно сказать о студенчестве. Впервые в истории сталинского режима происходит антикоммунистическая активизация студенчества. Этот рост политической активности выявился в таких формах и масштабах, которые явно не укладывались в легальные рамки обычной советской «критики и самокритики», а задевали саму сталинскую систему. Это было **принципиально новое явление**, совершенно незнакомое советскому режиму, но столь обычное в дореволюционной России, когда понятия «студент» и «революционер» стали почти синонимами.

Находили ли в советской прессе свое отражение и подтверждение эти сведения? Да, находили. Все сведения такого порядка анализировать невозможно. Приведем некоторые из них.

Так, газета «Комсомольская правда» писала:

«Сейчас нет нужды сетовать на отсутствие дискуссий среди молодежи, особенно **студенческой**, их немало и по самым различным вопросам... Однако некоторые дискуссии, проходившие в последнее время в ряде наших вузов (высшие учебные заведения, — автор А. А.) не могут не вызвать возражения. И не тем, конечно, что иные выступления носят острый и резкий характер... На этих обсуждениях можно было услышать **демагогические** высказывания, которыми стараются **начисто перечеркнуть** бесспорные завоевания нашей социалистической культуры. Зачастую — и в этом на наш взгляд главная беда — подобные высказывания облекаются в форму трескучей **ультрареволюционной** фразы, призванной поразить воображение слушателей «смелостью», вызвать аплодисменты».³⁶⁾

Подобные, а иногда еще более резкие статьи появились в ряде газет прибалтийских государств, Ленинграда, Украины и т. д.

Наконец, журнал «Коммунист» посвятил специальную передовую статью советскому студенчеству, в которой имеются такие утверждения:

1. Надо усилить борьбу с буржуазной и мелкобуржуазной идеологией, «проникающей в нашу страну путем радио, печати и т. д.».

2. «Надо решительно проводить дискуссии перед всем

коллективом студентов и **разоблачать** внутреннюю необоснованность неправильных выступлений».

3. «Нельзя быть либеральным по отношению к тем, кто не пытается понять неясные вопросы, а **преднамеренно вносят** смуту и дезорганизацию».

4. В высших учебных заведениях проявляется много либерализма по отношению к тем, «которые забывают, что их учебу оплачивают колхозники и рабочие... Партийные организации должны постараться, чтобы в каждом учебном заведении почувствовалась твердая рука»³⁷).

Чем конкретно недовольны студенты и каковы их требования? Советская печать дает лишь общие слова: «демагогия», «нигилизм», «Ультрареволюция». Что эта «Ультрареволюция, выдвигает далеко идущие требования, свидетельствует тот факт, что сам Хрущев решил пригрозить студентам радикальными мерами репрессий»³⁸). Он повторил ответ, данный лидерами румынской коммунистической партии своим недовольным студентам: «Если вам не нравятся наши порядки, тогда пойдите, поработайте, на ваше место придут учиться другие».

Октябрьские события в Польше, героическая революция венгерского народа, а потом и ее жестокое подавление советской армией еще больше усилили психологический кризис в СССР, вызванный разоблачением преступлений Сталина. Все это весьма чувствительно отразилось именно на комсомоле. С полным основанием можно говорить о глубоком политическом и психологическом кризисе в комсомоле. Его внешнее проявление сказалось в катастрофическом падении численного состава комсомола. В 1954 г. на XII съезде ВЛКСМ секретарем ЦК Шелепиным было доложено, что в ВЛКСМ состоит 18 825 000 человек³⁹). Через четыре года — в 1958 г. тот же Шелепин заявил в отчетном докладе на XIII съезде ВЛКСМ, что «за отчетный период в ряды комсомола принято более 10 000 000 юношей и девушек» и что «комсомол стал массовой 18-ти миллионной организацией»⁴⁰). Значит, поскольку общее количество комсомольцев составляет на 800 000 человек меньше, чем в 1954 г., то совершенно очевидно, что из комсомола ушло 10 800 000 человек! Куда они ушли? Может быть в партию? Нет, в партию было принято, по словам того же Шелепина, только 735 000 комсомольцев. Если вычесть эти 735 000 человек из 10 800 000 человек, то и в этом случае 10 000 000 (в круглых числах) ушло из комсо-

мола за четыре года, иначе говоря за каждый год между этими двумя съездами из комсомола уходило 250 000 человек. Шелепин не только не дал объяснения этому факту, но даже и не упомянул о нем. Если бы это был нормальный отсев, когда члены комсомола свыше 26 лет (теперь свыше 27 лет) по уставу механически снимаются с учета, то объяснение, вероятно, было бы дано. Таков четвертый этап в истории комсомола. Основой своей задачи по работе среди молодежи хрущевское руководство считает, по мнению Шелепина, «воспитывать у молодежи стремление к **революционной романтике, к героическим делам**»⁴¹). Это значит, что надо вернуть молодежи веру в дело коммунизма и тем самым вдохновить ее на новые трудовые усилия и жертвы. Для этого партийный аппарат мобилизует все средства организации и пропаганды. Шелепин так и говорит: «Все многообразные средства идеологического воздействия должны быть направлены на воспитание активных молодых строителей коммунистического общества»⁴²). А средства эти, надо сказать, действительно велики.

В СССР издается 133 комсомольских и 20 пионерских газет, 44 молодежных журнала. Общий разовый тираж этих изданий составлял еще в 1958 г. около 14 млн. экземпляров. Молодежные журналы и газеты выходят на 26 языках народов СССР. Специальное комсомольское издательство «Молодая гвардия» выпускает сотни книг пропагандной, политической и художественной литературы общим тиражом свыше 20 млн. экземпляров⁴³). Центральная газета комсомола «Комсомольская правда» имеет тираж 3 000 000 экземпляров (все газеты России до революции имели вместе тираж 3,5 млн. экз.). Кроме того широкую пропаганду среди молодежи ведут через кино (68 000), через радио и радиоточки (31 млн.). через библиотеки (400 000), через все расширяющуюся сеть телевизионных центров⁴⁴).

Эта огромная, комбинированная машина пропаганды беспрерывно — днями, месяцами, годами, десятилетиями — твердит молодежи одну и ту же идею — во имя сегодняшнего социализма в СССР, во имя завтрашнего коммунизма во всем мире надо жертвовать собою. Жертвенность, послушность и исполнительность, — вот три качества, которые партийный аппарат воспитывает в советской молодежи. Чтобы успешно прививать эти качества молодежи, партией в тончайших деталях разработана и специальная наука которая

называется «коммунистическим воспитанием». Разумеется, для той же цели эта наука широко использует все то, к чему всегда и во всех странах стремится молодежь — спорт, путешествия, игры, музыку, живопись, танцы и даже любовь. Более того, партийная бюрократия, как господствующий класс, учит свою смену и своих детей и тому, что до сих пор объявлялось предрассудками «буржуазно-дворянской культуры». Шелепин говорит, что ЦК ВЛКСМ и местные комитеты должны «активнее прививать молодежи хорошие вкусы, учить молодежь правильно оценивать, что красиво и что некрасиво, обращать внимание на внешний вид, осанку и манеры. . . Надо завести нам свои хорошие свадебные обряды. . . Может, стоит носить обручальные кольца. . .»⁴⁵).

И все-таки молодежь в СССР жила и живет сегодня двойной жизнью — одной жизнью она живет в комсомоле — тут она послушная, исполнительная, бдительная и коммунистическая, другой жизнью она живет дома — тут ей ничто человеческое не чуждо, в том числе даже и рок-н-ролл.

Тот же Шелепин (этот бывший секретарь комсомола недавно назначен председателем Комитета Государственной Безопасности СССР) признал эту двойственность в жизни советской молодежи, но ее происхождение и наличие приписал злым пропагандистам Запада. Он говорил: «Между тем пропагандисты западной культуры пытаются навязать советской молодежи чуждые нам взгляды и вкусы. Возьмите, например, американский танец рок-н-ролл. Он воспитывает разболтанность, возбуждает нехорошие, недостойные человека чувства. Наша же молодежь должна воспитывать в себе прямо противоположные качества: собранность, подтянутость. . . Мы выступали и будем выступать против этого танца неврастеников»⁴⁶).

Самое характерное и самое трагическое в так называемом «коммунистическом воспитании» молодежи — это методическое и систематическое **уродование души** молодого человека. Коммунизм не признает тех общеустановленных морально-этических устоев, на которых веками держалось и держится человеческое общежитие. «Морально все, что помогает коммунистической власти», — учат коммунисты. Моральная философия коммунистов своими корнями уходит в макиавеллизм («цель оправдывает средства»). Поэтому поведение человека не только в обществе, но и в личной жизни регламентируется с точки зрения интересов политичес-

кого режима, как мы это видели выше в речи Шелепина. Но и тут противостоит консервативный долг. И тут сказываются знаменитые «капиталистические пережитки в сознании людей». И тут сама человеческая природа всем своим существом протестует против «утилизации» ее возвышенных душевных качеств в грубых, материальных, эгоистических интересах режима. Вот в борьбе этих двух начал — в борьбе вечно-человеческого против преходящего и эгоистического, в борьбе возвышенного и идеального против грубого и материалистического, короче в борьбе власти против человека и человечности и родился новый тип человеческих уродов сталинской школы: политический **двурушник**. Философия этого типа простая: говорить не то, что думаешь и думать не то, что говоришь. Политическое двурушничество в условиях коммунистического режима не только моральное уродство, но и одно из важнейших методов самосохранения. Даже больше. Это один из способов делать партийную и государственную карьеру. Но сталинская школа родила не только двурушника, как типичного представителя нового строя, но она родила и целую армию лжецов и политических доносчиков. Целевая ложь и политическое доношительство, — это уже методы расправы власти с неугодными ей лицами. Власть культивировала эти качества с одинаковым усердием и среди комсомола и среди детей (вспомните историю Павлика Морозова).

Таким же «методологическим» оружием в руках власти являлось **воспитание чувства страха**, именно политического страха перед НКВД, которому, в свою очередь, приписывались сверхестественные качества: НКВД все видит, все знает, все может, не ошибается. Поэтому армия доносчиков состояла не только из доносчиков по убеждению или по воспитанию, но и из страха перед этим столь уже «всемогущим НКВД».

Мемуары бывших комсомольцев лучше иных научных монографий открывают перед внешним миром чудовищную правду — как большевики умеют политически организовать, идейно поработить и морально калечить молодежь страны. Они же свидетельствуют и о том, что это искусство большевизма конечной цели все-таки не достигает — вечное и человеческое, возвышенное и жизненное поднимаются вверх,

пробивая себе дорогу через мрачные темницы коммунистического мракобесия, как подымалась и пробивала себе дорогу к свету та символическая травка из под сурового асфальта тюремного двора, о которой повествует Лев Толстой в «Воскресении».

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ К РАБОТЕ А. А. АВТОРХАНОВА

- 1) Журнал «Молодой коммунист», № 11, 1957 г., стр. 73.
- 2) Там же, стр. 73.
- 3) Там же, стр. 73.
- 4) Там же, стр. 73.
- 5) Соч. Ленина, т. 8, 4-е изд., стр. 124.
- 6) «КПСС в резолюциях...» ч. I, 1954 г., стр. 386.
- 7) ВСЭ, т. II, 1-е изд., стр. 640.
- 8) Там же, стр. 640-641.
- 9) «КПСС о комсомоле и молодежи». 1957 г., издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», стр. 36.
- 10) Там же, стр. 41.
- 11) ВСЭ, т. II, 1-е изд., стр. 647.
- 12) ВСЭ, т. II, 1-е изд., стр. 643.
- 13) ВСЭ, т. II, 1-е изд., стр. 496-497.
- 14) Там же, стр. 497.
- 15) Там же, стр. 499.
- 16) «КПСС в резолюциях...», 1953 г., ч. I, стр. 783.
- 17) ВСЭ, 1-е изд. стр. 643; ВСЭ, 2-е изд., т. 9, стр. 337-347; «Комсомольская правда», март 1954 (XII съезд ВЛКСМ); там же, 16 апреля 1958 г. (XIII съезд ВЛКСМ).
- 18) «Справочник комсомольского пропагандиста», стр. 97.
- 19) «Комсомольская правда», б. 4. 1958.
- 20) «Молодой коммунист» № 11, 1957, стр. 75.
- 21) ВСЭ, т. 9, 2-е изд., стр. 339.
- 22) «Речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС», Мюнхен, 1956, стр. 25.
- 23) «Комсомольская правда», 16 апреля 1958, стр. 3.
- 24) «Справочник комсомольского пропагандиста...», стр. 99.
- 25) Там же, стр. 101.
- 26) Там же, стр. 102.
- 27) Там же, стр. 102.
- 28) Там же, стр. 101-102.
- 29) «Молодой коммунист», № 11, 1857, стр. 77.

- 31) «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 94.
- 32) Там же, стр. 92.
- 33) «Правда», № 333, 25. XI. 1956.
- 34) Там же, 4. XII. 1956, № 339.
- 35) Там же, 5. XII. 1956, № 340.
- 36) «Комсомольская правда», 4. XII. 1956, № 285.
- 37) «Коммунист», декабрь 1956, редакционная статья.
- 38) «Правда», 10. XI. 1956. № 315.
- 39) Там же, 20 марта 1954, стр. 3.
- 40) «Комсомольская правда», 16 апреля 1958, стр. 5.
- 41) Там же.
- 42) Там же.
- 43) Там же; «Справочник комсомольского пропагандиста...» стр 88.
- 44) «Комсомольская правда», 16. 4. 1958, стр. 3.
- 45) Там же, стр 4.
- 46) Там же, стр. 4.

Н. ЛУНЕВ

Ослепленный верой в светлое будущее

Я принадлежу к тому поколению (год моего рождения 1904), значительная часть которого была увлечена революционной бурей, заразилась пафосом борьбы за светлое будущее и в годы гражданской войны, не щадя жизни, отстаивала советскую власть. Много испытаний выпало на долю моего поколения. Многие из моих товарищей, не выдержав жестокой напряженности эпохи, отступили, вышли из строя. Многие пали смертью храбрых. Но им на смену приходили десятки тысяч новых таких же слепых энтузиастов; и революционный поток молодежи, стремившейся найти место в бурных событиях тех лет, поверившей в возможность осуществления извечной мечты народа о вольной и безбедной жизни, — не ослаблял своего стремительного напора. Нас вели за собой выдвинувшиеся из нашей среды вожаки, которые в борьбе не знали усталости, страха, колебаний. Они умирали, выкрикивая в последние мгновения своей жизни лозунговые слова, полные веры в коммунизм. И этим заражали нас.

Я хотел бы рассказать о моем поколении. Оно заслуживает этого. Но рассказать о нем — это значит написать многотомную повесть. Поэтому я ограничусь лишь рассказом о своей собственной жизни. Это, конечно, не то. Но я — частица моего поколения, и в моей судьбе, как в маленькой капле воды, преломились стремления и взгляды всей молодежи эпохи

гражданской войны и первых лет закрепления советской власти.

В описании отдельных фактов я хочу избежать избитых фраз и терминов, надоевших нам еще во время пребывания в комсомоле. Я буду рассказывать просто и откровенно — так, как я рассказывал бы о себе в комсомольском комитете своим бывшим друзьям и руководителям. Итак, вот она — биография рядового комсомольца.

На окраине Харькова

Серая окраина большого города. Полуосвещенная комната. Две кровати. Маленькая печурка. Мать приходила с работы поздно. Она работала на мельнице, зарабатывая 40 копеек в день. Старшая сестра день и ночь сидела за швейной машиной: брала заказы у местной бедноты. Из старых вещей и оставшихся кусков материи она умудрялась слепить одежду для семьи — для матери, меня и младших сестер. Жили часто впроголодь. Таким я помню свое раннее детство: 1909 — 1911 годы.

Об отце в семье говорилось редко. Я знал лишь, что он был мастером-токарем на киевском заводе «Арсенал» и погиб во время железнодорожной катастрофы. Почему-то со смертью отца связывался наш переезд в Харьков в 1908 году.

Когда я стал подрастать, мне пришлось в доме выполнять ту работу, которую обычно возлагают на взрослых мужчин — рубить дрова, носить воду, топить печурку, приводить в порядок предметы домашнего обихода. Старшая сестра, питавшая ко мне, как к единственному брату и «маленькому хозяину», большую любовь, — занимаясь со мной по вечерам, выучила меня читать, писать и считать. Иногда она на сбереженные деньги покупала детские книжки. Это было для меня большой радостью. В книжках, главным образом, рассказывалось о жизни животных. Я читал их вслух. Мать, слушая меня, дополняла книжные рассказы своими. Она была из деревни, любила природу, считала, что все живое — разумно, что «все — от Бога» и внушала мне веру в силу добра и правды. Это рано развило во мне острую реакцию на все несправедливое.

Осенью 1912 года, когда мне исполнилось 8 лет, меня впервые привели в школу. Приемные испытания я сдал на пятер-

ку с плюсом, и это очень удивило учительницу, которая уже знала, что я «вдовый сын». В школе у меня впервые появились внутренние противоречия. Внушения матери о торжестве справедливости никак не вязались с тем, что я видел. Одни из моих одноклассников были хорошо одеты и обуты, приносили с собой в школу лакомства, о которых я до этого не имел и представления. Другие, как я, ходили почти в лохмотьях и в обуви, доставшейся от старших, и не имели трех копеек, чтобы купить себе в перемену белую булочку. Я пробовал говорить об этом с матерью. Но она не могла дать мне удовлетворительного ответа, повторяя одну и ту же фразу: «Так, сынок, создано Богом, что на свете не могут быть все одинаково счастливы». Чтобы не обижать мать, я делал вид, что согласен с ней, но в душе у меня росло чувство злобы к богатым. Оно особенно крепло потому, что сынки богачей зачастую были большими лодырями, занимались плохо, списывали решения задач у более успевающих учеников, отдавая за это последним часть своих лакомств.

В 1914 году грянула война. К нам стали часто наведываться соседки-солдатки. Я должен был читать письма их мужей с фронта и отвечать на них. Много чужого горя узнал я из этих писем и это еще больше усилило мои сомнения в справедливости устроенного Богом мира.

Жить становилось труднее. Мать не знала, как свести концы с концами. Несколько раз собиралась она отдать меня в ученье к сапожнику. Но против этого решительно выступала моя старшая сестра. «День и ночь буду шить, — говорила она, — а Николай школу закончит!» Учился я хорошо, по всем предметам получал самые высокие оценки. По воскресным дням ходил в дом учительницы: убирал ей двор, рубил дрова, носил воду. За это я получал от нее что-нибудь из старой одежды или обуви, а самое главное — книги.

В 1916 году я окончил школу. Мать повела меня на завод. Мастер не хотел принимать на работу: мал, мол. Но я продемонстрировал ему мою силу, подняв, чуть не надорвавшись, трехпудовый ящик с гвоздями. И меня оставили. Так я стал «фабричным». Мать и особенно старшая сестра старались мне всячески угодить. Они называли меня «хозяином» и «кормильцем». Когда я приходил с работы, предоставляли первое место за столом. Сознание, что я действительно помогаю семье, заставляло меня даже отказываться от игр с товарища-

ми. После работы я оставался дома и старался что-либо сделать или исправить в домашнем хозяйстве.

Один из богачей, не имевший собственных детей, видя мое трудолюбие, предложил матери отдать меня ему на усыновление. Мать, исходя из добрых намерений — дать мне возможность «выйти в люди», то есть получить хорошее образование и приобрести доходную профессию, — почти согласилась. Она сказала об этом за ужином. Тогда мои сестры убежали из-за стола и принялись громко плакать, упрекая мать в жестокости и бессердечии.

Дня через два этот богач пришел за окончательным ответом. Сестры молча устремили свои глаза на мать. Мать тоже молчала. Тогда бездетный богач попробовал добиться своего иным путем. «Хорошо! — усмехнулся он, — спросим мальчика, желает ли он пойти ко мне». «Спрашивайте! . . .» — чуть слышно проговорила мать, и слезы побежали по ее лицу. «Ну, как? — обратился ко мне богач, — пойдешь ко мне, сынок? Человеком будешь! . . .» Я посмотрел на сестер. Их расширенные глаза выражали мольбу. Я понял и резко отрезал: «Нет!» В тот же вечер старшая сестра нарочито громко читала вслух заранее припасенную книгу «Хижина дяди Тома». Мать вздыхала. После этого никто из нас больше не напоминал матери, как она хотела отдать меня чужим людям. Только сама она, чувствуя угрызения совести, время от времени говорила мне: «Ведь я же, сынок, хотела тебе только хорошего» . . .

Парень в артиллерийской шинели

Глубокая осень 1917 года. Улицы Харькова запружены демонстрантами. У каждого на груди красный бант. На красных полотнищах — кричащие лозунги: «Мир хижинам, война дворцам!», «Вся власть советам!», «Фабрики — рабочим, земля — крестьянам!», «Мир без аннексий и контрибуций!». В разных частях города раздают одежду и обувь, реквизированные у богатых. Всюду митинги. Ораторы сменяют один другого. «Отныне нет господ! — несется с трибун. — Нет ни бедных, ни богатых! Все равные! . . .»

На работе мастер подтвердил слова ораторов и сказал, что теперь всех надо называть «товарищами».

Потом началась гражданская война. Проходили через Харьков оборванные красногвардейские отряды. Были в го-

роде немцы и войска Скоропадского. Развезался в Харькове и трехцветный флаг добровольцев Деникина. Положение несколько стабилизировалось лишь в начале 1919 года, когда в городе снова утвердилась советская власть.

Я давно уже не работал на заводе, так как это не имело смысла: никто не платил жалованья. Когда в Харькове разместились советские учреждения, я поступил курьером в Губвоенпродснаб. Комиссаром его был тогда некто Самарский, а управляющим — Василий Васильевич Поляков, ставший потом одним из руководящих работников на Украине.

Денег я за свою работу, как и все, не получал. Вместо жалованья раз в месяц нам выдавали несколько фунтов пшена, 2 — 3 метра мануфактуры, несколько бутылок пива и еще что-нибудь из домашней утвари (чутунок, сковороду и т. п.). Хлеба работающим выдавали по 200 граммов в день. Так как ни мать, ни сестры не могли получить никакой работы, — я на самом деле превратился в единственного кормильца семьи.

В это время в город стали прибывать раненные и контуженные командиры Красной армии. Их устроивали в учреждения. Появился такой командир и в Губвоенпродснабе. Это был молодой парень в длинной артиллерийской шинели с рядом красных петлиц на груди (форма буденовцев). Он назывался Морозовым.

Морозов ничего определенного не делал, ходил по комнатам, знакомился со служащими, заводил с ними разговоры на всякие темы. Как я узнал после, он служил политработником в I-ой конной Буденного и после контузии в голову был послан к нам комсомольским организатором. Аккуратный, сохранивший строевую выправку, общительный и толковый Морозов быстро завоевал симпатии служащих и рабочих складов Губвоенпродснаба. Но в первую очередь он, конечно, интересовался молодежью. С нами он часто говорил о том, что дает революция народу и какие задачи ставит перед собой советская власть; говорил еще о долге каждого молодого человека отстаивать и осуществлять революционные завоевания. Морозов умел подойти к каждому, быстро находил в настроениях собеседника наиболее чувствительные места и заставлял соглашаться с собой даже тех, кто не принадлежал к категории трудящихся.

Однажды, это было летом 1919 года, мы вместе получали

в каптерке паек. Морозов спросил меня: «Ну, как дела?» «Спасибо, — сдержанно ответил я, — ничего». «Как же так ничего? — улыбнулся он. — Хлеба-то маловато! А семья большая...» «А вы откуда знаете?» — удивился я. «Знаю. Должен знать» — и, отдав мне свою пайку хлеба, добавил: «Завтра зайди ко мне! Побеседуем».

На другой день я отправился к нему. Морозов жил при Губвоенпродснабе, в маленькой комнатке. Койка с казенным одеялом, стул да стопка книг на подоконнике — составляли всю обстановку. «Садись!» — предложил он мне, показав на койку.

«Ну, вот, — начал он, — поговорим о твоём отце!» «Нет у меня отца: поезд зарезал», — ответил я. «Неправда! — отрубил Морозов, — не поезд зарезал — жандармы убили».

Эта фраза ошеломила меня. А Морозов, немного подождя, начал рассказывать, что мой отец был революционером-подпольщиком и будто руководил нелегальным социал-демократическим кружком рабочих. Морозов говорил, а передо мной, как в тумане, рисовались картины восстания арсенальских рабочих в Киеве, баррикадные бои, гибель отца, а потом высылка семьи в Харьков.

«Так вот, — резюмировал Морозов, — отец твой погиб за землю и за волю. Он боролся, чтобы тебе и таким, как ты, жилось по-человечески. Понимаешь?» Я кивнул головой. «А раз понимаешь, то место твоё в комсомоле» — закончил он.

Слово «комсомол» я услышал впервые, спросил, что оно означает, и услышал объяснение, как надо понимать Российский коммунистический союз молодежи. В заключение Морозов показал мне свой комсомольский билет. Мало ещё разбираясь во всем том, что говорил мне этот человек, я дал свое согласие вступить в комсомол.

Через несколько дней комсомольская организация нашего учреждения, к тому времени насчитывавшая 17 человек, единогласно приняла меня. На собрании присутствовали Самарский и Поляков. Морозов так охарактеризовал меня, что мне стало казаться, будто не отец, а я сам был героем в 1905 году. После собрания все стали смотреть на меня иначе. Незамечаемого ранее шестнадцатилетнего курьера стали называть по фамилии, добавляя к ней слово «товарищ». Самарский и Поляков часто брали меня к себе домой, где я получал ужин, а иногда и оставался ночевать. Потом, благо-

даря им, мы получили по ордеру квартиру из двух комнат. Кроме того мать стала получать помощь из Наркомсобеза. Эта поддержка воспринималась семьей как революционное достижение.

Я же, шестнадцатилетний паренек, стал гордиться своим комсомольским билетом, в котором были записаны комсомольские обязанности, вернее комсомольская присяга. В мое сознание чем дальше, тем больше входило то, о чем говорил ранее Морозов. Я свыкался с мыслью и даже необходимостью идти по стопам отца и продолжать его борьбу за народное благополучие. Гордость за своего отца-подпольщика делала меня смелее. Иногда я пытался что-нибудь сказать на общем комсомольском собрании, но еще не привыкнув к большой аудитории с десятками глаз, устремленных на меня, терялся и садился, заливаясь краской. Морозов же каждый раз награждал меня аплодисментами. Это злило. После многих попыток доказать, что я все же могу выступать, я, наконец, действительно научился свободно держать себя на собраниях.

Морозов тогда оставил о себе воспоминания, как о честном и преданном революционере, отдавшем свои силы и знания делу трудового народа. Как я потом узнал от него — он часто навещался к нам — революция вырвала его из родного дома и навсегда увела от родителей, оставшихся в лагере противников советской власти.

Как-то раз я попался на глаза секретарю райкома комсомола — молодой девушке в кожаной куртке и красной козынке. Она набросилась на меня с упреками: «Какой же ты комсомолец, если в твоём доме висят иконы и портрет Николая Второго?» «Так ведь мать...» — пробовал оправдаться я. «Мать-мать! — передразнила она. — Переубедить должен!». После этого я попытался уговорить мать снять портрет царя и хотя бы часть икон, которым был отведен весь передний угол. Но из этого ничего не вышло. Мать не только наотрез отказала мне, но еще и пожаловалась на меня Морозову. Не знаю, о чем говорил с ней Морозов, но она сняла только портрет царя. А меня Морозов отругал и не советовал больше заводить разговор об иконах: «Не время еще! Не до всего люди сразу доходят», — закончил он свою отповедь.

Клятва над гробом комиссара

Городу угрожала опасность. Советские учреждения срочно эвакуировались. Я снова остался без работы. Пришлось заняться торговлей ирисками с лотка. Однажды я забрел на Северо-Донецкий вокзал. Там шла погрузка в вагоны I-ой Украинской советской стрелковой бригады, отправлявшейся на Северный фронт против генерала Юденича. Меня обступили красноармейцы и, забрав все ириски, заплатили фальшивыми деньгами (их тогда было много). Я поднял крик. В дело вмешался комиссар бригады — молодой революционер из студентов. Он повел меня в командирский вагон и стал расспрашивать, как выглядели те красноармейцы, которые меня обманули. Узнав, что я работал в Губвоенпродснабе, он и командир бригады — бывший офицер царской армии Жариков — предложили мне остаться в бригаде. Предложение было для меня заманчивым — военное дело всегда будоражит молодые головы. Комиссар — его фамилия была Синявский — обещал при первом же случае сообщить моим родным, где я, и это решило мою судьбу — я согласился.

Синявский во многом напоминал мне Морозова. Кстати, он тоже происходил из богатой семьи и, порвав с нею, «ушел в революцию». Ко мне он относился с большой любовью, стараясь сделать из меня образцового, всегда подтянутого бойца.

В бригаде было до 70 комсомольцев. Руководил организацией молодой матрос Соловей. Он требовал от нас, комсомольцев, чтобы мы показывали остальным красноармейцам пример выдержанности и дисциплинированности. Нелегко это делать, когда тебе еще нет и семнадцати лет и когда на твоей голове буденовка с красной звездой. Хотелось на стоянках пройтись таким «фертом» и попугать обывателей. Но Соловей был строг, а комсомольский билет напоминал о долге.

После полутора месяцев бригада прибыла, наконец, под Петроград. И здесь, в одном из первых боев под селом Красным, в числе многих погибли комиссар Синявский и матрос Соловей.

... Мы застыли в сомкнутом строю. У свежевырытой могилы стояли гробы. Командир бригады бросал звучные прощальные слова:

«Наши лучшие бойцы и товарищи своею кровью приближили день победы. Еще несколько усилий! День мирного труда близок!»

После этого он вызвал меня из строя и, передавая мне наган комиссара, добавил: «Будь же таким, как твой воспитатель, комиссар Синявский. У него слово не расходилось с делом!»

Все это действовало на меня. Спазмы сдавили горло. Выступили слезы. Когда отзвучал прощальный салют, я несколько раз выстрелил вверх из полученного нагана. А вечером на комсомольском собрании я дал клятву мстить за товарищей, погибших у нас на глазах, мстить беспощадно — «пока ни одного врага рабоче-крестьянской власти не останется на земле».

После ликвидации Северного фронта я получил удостоверение воспитанника 1-ой Украинской стрелковой бригады и был пристроен к одной бездетной крестьянской семье. Жилось неплохо, но мать и сестры звали домой. В 1922 году я снова вернулся в Харьков.

У дверей старых большевиков

Дома были рады моему возвращению. Никто не упрекнул за самовольный уход на фронт. Я зарегистрировался в военкомате и стал на учет в горком комсомола. Задумываясь о будущем, я снова решил поступить на завод, чтобы приобрести квалификацию токаря. Однако мои планы были нарушены. Через несколько дней меня вызвали в политотдел ЧОН^а*). Явился я туда в своей старой красноармейской форме, но без звезды на шлеме. Отрапортовал: «Воспитанник 1-ой Украинской стрелковой бригады по вызову явился!»

— Какой ты воспитанник Украинской бригады? — иронически посмотрел на меня начальник политотдела, — а где твой красноармейский значок? Забыл о комсомольской совести?

Я хотел было сказать, что война кончилась, что я не военнообязанный, а бывший доброволец и, что комсомольская

*) Часть особого назначения.

совесть здесь не при чем; но начальник политотдела командовал мне:

— Кру-гом! Приведи себя в порядок и явись, как положено!

Несмотря на то, что я повернулся и вышел. Дома почистил свою форму, нацепил на шлем звезду и снова явился к начальнику политотдела. Он встретил меня более дружелюбно. Попросил показать ему мой комсомольский билет. Прочитав вслух напечатанную на обложке билета комсомольскую присягу, он сказал:

— Из армии ты не имеешь права уходить! Если уйдешь ты, да я уйду, то кто же будет охранять страну? Где мы возьмем кадры командиров для будущих боев?.. Останешься у нас. Иди в штаб, оформляйся!

Меня поставили на пост у смежных дверей наркома юстиции Украины Н. Скрыпника и председателя украинского ВЦИК'а Г. И. Петровского. Их кабинеты находились в помещении бывшего банка на Николаевской площади. Здесь же, между прочим, находился и следователь по важнейшим делам, бывший председатель ВЧК Украины Степан Саенко, одно имя которого приводило в трепет жителей Харькова.

Скажу по совести, то доверие, которое было оказано мне при назначении меня в охрану столь важных государственных персон, наполнило меня чувством большой гордости. Я прощупывал глазами каждого, кто проходил к Скрыпнику или к Петровскому, хотя и знал, что люди уже обысканы работниками ОГПУ. Вероятно я, не задумываясь, выстрелил бы в каждого, кто внушил бы мне подозрение, ибо верил, что люди, которых я охраняю, осуществили революцию, которая дала моей семье и миллионам других, ранее обездоленным, человеческую жизнь.

В то время городскую организацию комсомола возглавлял Александр Серов — сын Степана Саенко. Он нарочно сменил свою фамилию, чтобы отцовская слава не мешала ему в работе с молодежью. Он часто появлялся на улицах Харькова среди молодых девушек и ребят. Его почти всегда можно было видеть с киркой или лопатой в строю комсомольской молодежи, следовавшей на субботники. Почти каждого комсомольца города он знал лично и почти у каждого бывал на квартире.

Нельзя не упомянуть о духе комсомольской молодежи того времени. Комсомольцы в общественной жизни и в быту

старались осуществить уже тогда принцип коммунизма. Если кто имел два костюма или две пары ботинок — оставлял себе самое необходимое и остальное отдавал товарищам. Не поделиться добытой где-то лишней воблой или выменными на зажигалки папиросами, не помочь нуждающемуся товарищу — считалось позором, поступком, недостойным звания комсомольца. Поэтому каждый из нас «лез из кожи», чтобы продемонстрировать свою верность коллективу, чтобы быть одним из первых в комсомольской взаимовыручке. Мы искренне верили, что терять нам нечего, кроме завоеванной свободы, а впереди — все лучшее будущее. Мы готовы были перегрызть горло каждому, кто подымал руку на советскую власть и не обращали внимания на трудности времени, отдавая все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства страны, которое завещано нам в наследство самой революцией.

Вспоминаю случай, когда Александр Серов, окруженный толпой девушек в красных косынках и ребят в самой разнообразной одежде, беседовал с группой старых коммунистов: с Петровским, Скрыпником, Затонским, Буздалиным, Роговским и другими. Говорили о будущем. Зараженный нашим комсомольским оптимизмом и нашим юмором, с которым мы отшучивались о недостатке питания и одежды, Петровский даже растрогался: «Да с вами действительно не пропадешь!». Эти старые коммунисты поддерживали в нас веру, что будущее принадлежит именно нам, поощряя нашу инициативу, исправляя наши промахи, ошибки, которые мы в пылу увлечения часто допускали в работе.

В том же 1922 году мне пришлось участвовать в большой агитационной кампании, которая была связана с процессом так называемых вредителей в лесной промышленности. Больше сорока человек находилось тогда под следствием и им грозил расстрел. Родственники арестованных ежедневно осаждали наше здание, добиваясь свидания со Скрыпником или с Петровским, чтобы просить о помиловании. В городе началось заметное брожение в пользу арестованных. Тогда-то и привлекли комсомольцев-чоновцев к работе по подготовке общественного мнения к суровому приговору. Мне, в числе других, пришлось выступать на заводах и даже на уличных митингах, выкрикивая фразы, заученные нами во время инструктажа в политотделе ЧОН'а.

В ЧОН'е я пробыл до 1923 года. Оттуда меня по комсо-

мольской путевке откомандировали в Ленинградское военное училище.

В социалистическом наступлении

В военном училище я пробыл до 1927 года. Там, наряду с чисто военным обучением, я занимался самоподготовкой, обогащаясь политическими знаниями. В эти годы комсомольской работы я почти не вел, если не считать выполнения отдельных незначительных поручений (посещения подшефных предприятий или выступления на митингах). Наиболее значительным событием в моей жизни в этот период явилось то, что в январе 1924 года на траурном митинге, посвященном смерти Ленина, я «авансом» был принят в РКП(б), оставаясь фактически комсомольцем.

По окончании училища я был снова направлен в Харьков, где получил назначение в 23 стрелковую дивизию на должность помощника начальника школы младшего состава одного из полков.

Вскоре в стране началась подготовка к наступлению на крестьянство, т. е. к сплошной коллективизации. Партийная работа в деревне стала принимать военизированные формы. На нее посылались наиболее стойкие и убежденные коммунисты.

Однажды меня вызвал комиссар части Фишман, бывший когда-то политруком в знаменитой Чапаевской дивизии. «Вам предстоит ответственное комсомольское задание, — сказал он, — явитесь к 18.00 в политотдел дивизии за инструкциями!» В политотделе я увидел группу молодежи в полувоенном, которые оказались комсомольскими работниками обкома ВЛКСМ. Задание давал сам начальник политотдела дивизии. Он сказал:

— Мы переходим от политики ограничения кулачества к политике ликвидации его как класса. Кулаки срывают мероприятия советской власти по заготовке хлеба. Они хотят задушить советскую власть голодом. Они убивают наших активистов. Мы используем силу и авторитет нашей армии. В каждой комсомольской бригаде, отправляемой в село, мы назначаем старшим армейского комсомольца. И пусть попробуют они убить хоть одного военного. За одного будут расстреляны тысячи!

Обращаясь непосредственно ко мне, начподив добавил:

— Завтра во главе бригады вы едете в село и заставите крестьян сеять. Браги под видом наступающей Пасхи хотят сорвать сев. А вы знаете, что значит задержать сев...

Логика начподива мне казалась убедительной. В словах его металлом звучала ненависть к кулачеству и вера в правоту политики, проводимой партией. И я, не зная деревни, не зная крестьянства и его чаяний, шел на новую работу, преисполненный готовностью выполнить задание во что бы то ни стало.

На другой день, к огорчению моей матери, привыкшей праздновать Пасху со мной вместе, я выехал в село. Помню, мать сказала на прощанье: «Смотри, сынок, не обижай людей, не бери греха на душу!»

По заданию, я должен был выступить во время пасхального богослужения в церкви и призвать крестьян начать сев. Я заранее обдумал свои слова, и когда подходил к паперти, они уже сложились в связную речь. Но стоявшие у входа крестьяне смотрели на меня так недружелюбно и с такой тревогой, что мною овладело внезапно неприятное чувство. Понадобилось вспомнить слова начподива, восстановить в памяти своего погибшего отца, Синявского и Соловья, — лишь тогда я загорелся яростью против невидимого врага советской власти и вбежал в церковь. И все же готовое сорваться с языка привычное слово «Товарищи!» как бы застряло в горле.

Невстречу мне струился проникновенный тихий голос священника, возгласы дьякона и пение хора. Кругом стояли женщины и осеняли себя крестным знамением, у многих на глазах были слезы. Перед покоряющей силой всеобщего молитвенного торжества я почувствовал себя маленьким человеком. Моя решимость покинула меня. Постояв немного, я, смущенный, вышел из церкви.

У церковной ограды стояла группа крестьян. Один из них что-то говорил, кивнув головой на меня. Это снова вернуло мое сознание к партийно-комсомольскому заданию. Я подошел к ним и с некоторой наигранностью в голосе спросил: «А когда же будем сеять, папаши?» «Сеять? — переспросил один из крестьян. — Да после Пасхи!». «А сколько она у вас длится, эта Пасха?» — с иронией спросил я. «У кого неделя, а у кого и две» — послышалось в ответ. «Так ведь сев же пропадет! Земля не уродит!» — с силой воскликнул я. «На наш век хватит! Нам не много надо...»

Тогда я пустился в пространные объяснения, что нельзя жить, думая только о себе, надо помнить и про государственные интересы. В это время, как было заранее условлено, подошли местные комсомольцы и стали мне робко поддакивать. Это подбодрило меня. Я стал рассказывать о себе, о моих товарищах, погибших на фронте за то, чтобы крестьяне имели свою собственную землю. Крестьяне как будто начали сдаваться, но пойти в понедельник сеять наотрез отказались. «Вы, молодые, делайте что хотите, а мы будем праздновать — так делали наши отцы и деды, так будем делать и мы» — ответил за всех благообразный и степенный крестьянин.

В понедельник я собрал сельских комсомольцев, и они с лукошками и зерном вышли в поле. Работа у них из-за неопытности, конечно, не ладилась. К тому же на нас злобно поглядывали собравшиеся крестьяне. Вдруг, к моему удивлению, из этой толпы вышел тот самый благообразный и степенный мужик, который накануне дал отповедь на мою агитацию; он вырвал у одного комсомольца лукошко и, перекрестясь, начал разбрасывать семена, с тем исключительным умением, которое дается лишь многолетней практикой. Подошел гармонист и заиграл вальс. Еще несколько крестьян взялись за лукошки. Начались шутки. Сгущенная атмосфера стала постепенно рассеиваться. Набравшись смелости, я подошел к одному старику, который особенно усердствовал в недоброжелательных репликах по нашему адресу, называя нас антихристами и шалопаями, и спросил его: «А скажи, дедушка, в каком евангелии написано, что в праздник работать грех? Ведь сегодня — не седьмой день недели!» Старик растерялся и, удивленно бросил в толпу: «Вот же антихрист, так действительно антихрист: евангелие знает!» Все засмеялись, и это было концом нашего «холодного сражения».

На другой день сеяло уже полсела. Так я выполнил первое задание по работе в деревне, за что получил благодарность в приказе.

...В 1930 году началось строительство Харьковского тракторного завода. Комсомольские организации, в том числе и армейские, были призваны принять активное участие в сооружении. На стройку были брошены все члены комсомола 23-ей дивизии. Под руководством комдива Лукина мы провели подготовительные земляные работы, а также часть бе-

тонных. Бок о бок с нами работали комсомольцы, приехавшие на стройку из различных предприятий, учреждений и деревень.

Это было уже новое поколение молодежи. Не ненависть к врагам советской власти руководила ими, а желание видеть свою страну механизированной и желание самим освоить технику. В глазах этих молодых ребят можно было заметить такое же слепое явление, как и у моих сверстников периода гражданской войны. Они обжигали свои пальцы на морозе, вязли по колено в грязи, мокли под дождем, но не покидали своего рабочего места. В трудные минуты мы создавали «ударные бригады» и «бригады прорыва», которые работали по 15-18 часов в сутки.

Дивизия была награждена орденом Ленина. А я в числе лучших ударников-строителей армейской организации комсомола был вызван в Москву, где Ворошилов подарил мне именное оружие.

Правда, не жажда почестей и наград вынуждала меня недосыпать по ночам и отдавать все свои силы партии и комсомолу. Все незначительные и большие партийно-комсомольские задания я выполнял по какому-то внутреннему зову. Я верил, что построение социализма в нашей стране коренным образом изменит судьбу народа, что с помощью высокой механизации труда и достижений науки удастся распахнуть двери, ведущие к культурному расцвету и к обеспечению жизни. Я видел, что старшее поколение, уставшее за годы войн и послевоенной разрухи, уже не в состоянии выдерживать трудности социалистического строительства. Таким образом, я приходил к выводу, что успех преобразования страны всецело зависит от напряжения мускулов и воли таких, как я. И я шел к молодежи, заражал ее своей верой в близкий час торжества социализма и вел ее на самые трудные участки стройки. Молодежь шла за мной. Она видела во мне «старого комсомольца» и сына героя-подпольщика. А это, в свою очередь, заставляло меня предъявлять еще больше требований к самому себе и продумывать каждый свой шаг, ибо по мне старались равняться молодые комсомольцы.

По возвращении из Москвы я был утвержден ответственным секретарем комсомольской организации полка.

В первый раз — «Почему?»

В 1932 году меня перебрасывают на Дальний Восток. Назначили помощником командира саперного батальона по политической части. Здесь я продолжаю оставаться в рядах комсомола, хотя уже давно вышел из комсомольского возраста. Почему же я это делал? Вероятно потому, что мне не хотелось расставаться с комсомолом, который вывел меня на широкую дорогу жизни, помог мне стать командиром Красной армии, помог мне стать человеком, сознающим полноту своих гражданских прав. Главное же заключалось в том, что мне не хотелось расставаться с организацией, с которой связывалась моя вера, мои надежды. Теперь мне хотелось отплатить комсомолу за все это. И я старался передать свой опыт более молодым комсомольским организациям.

На Дальнем Востоке, в силу отдаленности воинских частей от населенных пунктов, работа армейского комсомола не выходила из рамок чисто военной жизни. Здесь в задачу комсомольской организации каждой части входило:

- 1) обеспечить выполнение плана боевой и политической подготовки бойцов путем организации социалистического соревнования за лучшие показатели в учебе и

- 2) воспитывать прибывающую в армию некомсомольскую молодежь в духе преданности родине и верности воинскому долгу.

Само собой разумеется, что на каждого комсомольца возлагалась ответственность быть примерным и дисциплинированным бойцом. Из этого видно, что комсомольская работа в армии отличалась некоторой узостью и однообразием. Ничего зажигающего в ней, по существу, не было.

Через год я поехал в отпуск в родной Харьков. На Украине был голод. Я видел забытые крестьянские хаты, видел на дорогах опухших людей. Мать, зная, что произошло в деревне, в осторожной форме пыталась рассказать мне, как специальные бригады, сформированные из комсомольцев и членов партии, под руководством уполномоченных, присланных из городов, забирали у крестьян весь хлеб до последнего зерна; как тех, кто оказывал сопротивление, гнали под конвоем в город. . . Я верил матери. Но я не мог себе представить, что голод на Украине был искусственно создан самим советским правительством. Вера партийной прессе, я связывал его с кулацким саботажем и с «перегибами» мест-

ных партийных работников. Сталинская фраза о «трудностях роста» прочно сидела в моей голове, мешая оценить события в их подлинном свете.

Мой отпуск по времени совпал с кампанией разоблачения так называемых «нацдемовцев»*) — Скрыпника и других видных украинских коммунистов, якобы подготовлявших отделение Украины от СССР и восстановление в ней капитализма. На проведение этой кампании были брошены все кадры молодых членов партии и комсомольцев. Их посылали на фабрики и предприятия для проведения там специальных митингов с вынесением резолюций, осуждающих «националистический» уклон бывших вождей украинской партии большевиков. Из их среды были выделены так называемые «общественные обвинители», выступавшие на этих митингах с требованиями суровой кары над «изменниками делу революции и социализма». Несмотря на то, что я числился в отпуску, я тоже был привлечен к этой работе.

Буду откровенным. Я не столько подчинился партийно-комсомольской дисциплине, сколько сам внутренне мобилизовал себя на борьбу с «националистическим уклоном». На одном из митингов я сказал: «Было время, я стоял у дверей Скрыпника, готовый пустить пулю в каждого, кто осмелился бы поднять руку на него. Теперь я готов расстрелять самого Скрыпника, ибо он предал интересы трудового народа Украины!»

Был ли я искренним в эти минуты? Да! После информации на городском собрании партийно-комсомольского актива о том, что Скрыпник в течение многих лет насаждал своих сторонников во все советские органы и с их помощью готовил переворот на Украине, — у меня пропали уважение и симпатии к нему. Я даже мысленно проклинал его и старался вычеркнуть из памяти все наставления, которые мне приходилось от него слышать в годы моей юности. Правда, мне было жаль его жену. Она была почти одних лет со мной и, несмотря на свое «непролетарское» происхождение, вместе с нами была увлечена революцией. Она не была членом комсомола, но часто бывала на наших комсомольских собраниях.

Не скажу, что все комсомольцы были настроены так же, как и я. Я хорошо помню, что отдельные комсомолки, ранее знавшие Скрыпника как одного из идейных и отзывчивых

*) Национально мыслящих партийцев.

коммунистов, с плачем ходили к Г. Петровскому и просили его заступиться за «заблудившегося» наркома и дать ему возможность «исправиться». Эти комсомолки в свою очередь были осуждены на комсомольских собраниях.

... Военная машина Красной армии работает, не останавливаясь, 24 часа в сутки. Сколько часов в сутки работает командир Красной армии — сказать трудно. Во всяком случае он не имеет времени на личную жизнь, у него нет времени на раздумья и сомнения в вопросах, не связанных с военной службой. Месяцы и годы проходят в однообразии: казарма, полевые занятия, подготовка к занятиям, ночные тревоги, опять казарма. . .

Подошел 1937 год. Среди командиров и политработников начались аресты. В газетах все чаще и чаще пестрят роковые слова: «враг народа». «Враги народа» пробрались к руководству комсомолом, «враги народа» среди писателей, «враги народа» всюду. Из дома пришли известия, что арестован муж старшей сестры — ветеринар, исключен из партии и снят с работы муж средней сестры — директор конного завода.

Привыкший доверять партийному руководству, привыкший верить каждому слову «Правды», я и на этот раз не сомневался, что мои родственники и друзья, арестованные органами НКВД, действительно стали на путь скрытой борьбы против советской власти. Однако, я не мог понять одного: почему они стали на этот путь, кому они служили и какую пользу для себя из этого извлекали.

Это был первый вопрос за все годы, на который я не мог найти ответа. И он, как червоточина, все больше и глубже проникал в мое сознание.

Да так ли это?

Июль 1938 года. Пограничный конфликт у озера Хасан угрожал перейти в «малую» позиционную войну. На Дальний Восток прибыл специальный уполномоченный Сталина — Л. Мехлис. У него неограниченные полномочия. Из частей отзываются командиры и комиссары, не внушившие доверия Мехлису. Отстранен от руководства операциями Блюхер, ограничен в действиях Штерн.

5 августа Мехлис вызывает к себе на узкое совещание отобранных им командиров и комиссаров частей и подразделе-

ний. Ставится задача: создать сводные комсомольские взводы и роты и в ночь на 6 августа мощной атакой выбить японцев с занимаемых ими советских высот. «Сталин приказал, — с какой-то торжественностью в голосе закончил Мехлис, — проучить захватчиков, не нарушая границы!»

Не нарушая границы... Это означало атаковать противника в лоб, это означало продвигаться по узким тропам и болотам, без надежды на помощь техники. Но приказ — есть приказ. В частях закипела работа. Молодые коммунисты и наиболее активные комсомольцы были брошены в подразделения для возбуждения боевого духа. Среди бойцов был вызван психоз подачи заявлений в комсомол. В заявлениях писалось: «Хочу отдать свою жизнь за родного Сталина!»

В 2 часа ночи началась атака. Бой закончился к полудню. Ценой тысяч красноармейцев и молодых командиров высоты были очищены от японцев. Большинство красноармейцев, принятых в комсомол перед боем, так и не получило своих комсомольских билетов...

После окончания операции и очистки поля боя наша дивизия была переброшена в район озера Ханко. У бойцов и командиров настроение было подавленное. Нас не радовали ни награды, ни повышения в должности (я стал командиром батальона), ни подарки, присланные нам якобы трудящимися нашей страны. Многие товарищей недосчитывались мы в своих рядах. И главное было то, что этих товарищей мы сами убирали с поля боя — изуродованными, почерневшими от жары и гнуса. Попытки вызвать бодрое настроение боевой песней не имели успеха. И тут, по дороге к озеру Ханко, случилось с нами нечто, непредвиденное командованием.

Колонна наших автомашин вдруг остановилась. До нас донесся какой-то раздирающий душу вой. Мы стали соскакивать на землю и поспешили к головной машине. Перед нами предстала картина, запомнившаяся на всю жизнь. Около сотни женщин и девушек в одежде заключенных советских концлагерей лежали поперек нашего пути и в один голос рыдали. Около них суеилось несколько стрелков ВОХР'а*), пытавшихся прикладами прогнать их с дороги.

Согласно инструкциям, нам запрещалось вступать в какие бы то ни было разговоры с заключенными ИТЛ**). Но делать

*) Вооруженная охрана лагерей.

**) Исправительно-трудовые лагеря.

было нечего. Мы подошли к женщинам. На наши вопросы, в чем дело, они наперебой стали умолять нас вступить за них и потребовать от Лубянки пересмотреть их дела, так как все жалобы на несправедливые приговоры остаются без ответа. Раздав женщинам все свои подарки, мы тронулись дальше. Бойцы совсем приуныли.

Это событие не прошло без последствий. Один из моих молодых воентехников, комсомолец, по приезде на место дислокации дивизии, попросил у меня автомашину, чтобы привезти со станции свою невесту, которая, якобы, приехала из Москвы. Мне показалось это неправдоподобным, и я прямо сказал ему об этом. Тогда он откровенно рассказал, что среди заключенных женщин встретил свою односельчанку и решил облегчить ее участь.

Случаи похищения заключенных девушек военными на Дальнем Востоке не были единичным явлением. Я взял с воентехника «комсомольское слово», что он все делает на свой страх и риск и дал ему автомашину. К вечеру воентехник вернулся с девушкой и, подав докладную на имя командира полка, оформил ее как свою жену. . .

Надвигалась холодная дальневосточная зима. Нам было приказано «зарыться в землю» (то есть сделать себе жилища в земле), так как строительного материала на постройку казармы не прислали. Опять на плечи комсомольцев легла вся тяжесть неласковой военной службы. Они не имели права «хныкать», они должны были показывать пример в работе и подбадривать остальных. Среди жен и детей комсостава начались заболевания. Жены некоторых командиров требовали от мужей развода. На партийно-комсомольском собрании мы вынуждены были констатировать, что морально-политическое состояние бойцов и командиров нашей дивизии ухудшается. На вопрос, почему дивизия не обеспечена нормальными жилищами, начальник политотдела ответил нам, что это — «трудности роста» и, кроме того, — происки «врагов народа».

Но к этому времени стали возвращаться отдельные ранее арестованные командиры и комиссары. Это были истощенные и измученные люди. Их быстро обмундировывали и куда-то отправляли. Они ни с кем не разговаривали открыто, однако после их пребывания в дивизии у командиров и красноармейцев появились нотки раздражения при напоминании им о «врагах народа».

После этого я тоже стал все чаще и чаще задумываться: а

так ли все на самом деле, как старается представить партийная пропаганда. Не обманывают ли нас? Не обманываюсь ли я сам? «Трудностям роста», то есть нищете и несправедливости, нет конца. Рядовые и младшие командиры засыпают меня докладными записками, в которых просят помочь родным, находящимся в бедственном положении. Они показывают мне письма, которые наполнены тревогой за завтрашний день. Чем все это можно объяснить?

Я написал письмо секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву, в котором просил его принять срочные меры против «искажения на местах политики партии и правительства в вопросе заботы о семьях военнослужащих». И вот, спустя некоторое время, меня вызывает к себе начальник политотдела дивизии — только что присланный к нам из Москвы на место арестованного как «врага народа» старого начальника. Он кричит на меня. Он ставит мне в вину то, что я осмелился жаловаться секретарю ЦК.

— Сначала интересы государства, а потом уже наши личные интересы! — закончил он.

Это говорил человек, призванный улучшить морально-политическое состояние нашей дивизии. Он олицетворял собой партийное руководство, которое должно было исправить на местах ненормальное положение, якобы вызванное происками «врагов народа». Но чем он отличался от своего предшественника? Разве только тем, что наш прежний начальник политотдела не кричал на нас. . .

Но не все из нас ограничивались лишь размышлениями о создавшемся положении. В один из праздничных дней, когда у нас, обычно, проводились показательные соревнования по освоению военной техники, — танковый дивизион показывал нам искусство преодоления речной преграды по столбикам разрушенного моста. В головной танкетке ехал секретарь комсомольской организации дивизиона, отличившийся в боях под Хасаном. Он блестяще выполнил упражнение, развернулся и вдруг, ко всеобщему удивлению, полным ходом помчался к границе. Мы переглядывались: что он задумал? Но вот танкетка застряла в болоте. Из нее с пулеметом в руках выскочил наш товарищ и побежал в сторону чужой земли. Больше мы его не видели.

Вскоре нам было официально заявлено, что бывший секретарь комсомольской организации танкового дивизиона, изменив «родине», с оружием в руках перешел на сторону япон-

цев; японцы предложили ему работать в своей разведке, но он отказался; тогда японские жандармы пристрелили его недалеко от границы.

Бойцы слушали, и было заметно, что последнему они не верят. . .

В числе обманутых Сталиным

В армии ощущался недостаток в кадрах политработников. Меня назначили руководителем дивизионной политической школы. В ней занимались кандидаты партии, комсомольцы, командиры взводов и замполиты рот. Основным предметом была история ВКП(б).

Читая лекции, я старался оттенять первый период истории партии — ленинский. К Сталину я уже чувствовал в душе антипатию, и все, что мне пришлось пережить в последние годы, связывалось у меня с его именем и с его злой волей.

К этому времени я был избран в краевой совет депутатов трудящихся. Иными словами, я числился в категории самых преданных делу партии людей. На одном из комсомольских собраний было торжественно отпраздновано мое 20-летнее пребывание в комсомоле. Мне вручили юбилейный комсомольский билет, в котором день его выдачи совпадал со днем моего вступления в комсомол в 1919 году. Это меня расстрогало больше, чем все мои повышения по службе и по партийной линии.

В 1940 году я был откомандирован на западную границу. Там шли оборонительные работы. Я снова должен был организовывать комсомольцев на досрочное выполнение плана сооружения оборонительных укреплений, создавать комсомольские ударные бригады. Но сейчас уже трудно было вызывать энтузиазм молодежи. Когда я рассказывал, как работали комсомольцы в первые годы советской власти, мои воспитанники отмалчивались или иногда замечали: «Тогда было другое время!»

И они были правы: тогда действительно было другое время. Тогда наши старшие товарищи, давая задание, говорили нам: «Товарищи, это — нужно сделать! От этого зависит, жить или не жить советской власти». Совсем другие слова звучали у партийных руководителей нового времени. Так, например, прибывший на наш участок строительства уполномо-

моченный ЦК партии, собрав партийное собрание, сказал нам: «Задание товарища Сталина — к осени закончить все работы. Справитесь — будете представлены к награде. Не справитесь — отдадим под суд!»

Некоторые слова имеют способность врезываться накрепко в сознание. Эти были именно такими: «Не справитесь — отдадим под суд!»...

Под страхом перед значением этих слов мы дожили до дня испытания прочности советского общества, воспитанного в страхе и нужде. Этим днем явилось 22 июня 1941 года.

... Наши части, оказав самое короткое сопротивление немцам, не выдержав напора, стали отходить. Потом отход превратился в паническое бегство. До 13 июля я с группой бойцов старался пробиться на восток. Но безуспешно. Нас взяли в плен.

В плену мне пришлось одно время быть вместе с Яковом Джугашвили, — старшим сыном Сталина. Его опекали работники Гестапо, и лишь урывками удавалось разговаривать с ним.

Яков производил впечатление выдержанного молодого человека, старавшегося в условиях плена не уронить достоинство командира. От пайка немецкого офицера он отказался, отказался и от ординарца, которого хотели приставить к нему. На все предложения органов немецкой пропаганды выступить по радио, он отвечал: «Я такой же простой командир, как и все находящиеся в плену. С отцом я ничего общего не имел и не имею. Это видно из того, что я честно прошел путь от простого курсанта до капитана артиллерии. Я защищал не отца, а родную землю. Обстоятельства заставили меня оказаться в плену. Но никакие обстоятельства не заставят меня работать на поражение моего народа!»

Я восторгался этим ответом. Но шли дни, и в моем сознании, сначала робко, а потом все более решительно забились мысль о другом — о возможности поражения не народа, а коммунистической власти. В начале 1943 года в лагерь прибыл пропагандист РОА. Его выступление перед военнопленными совпало с моими мыслями. И я откликнулся на призыв генерала Власова с оружием в руках начать войну против сталинской тирании.

Прошли годы. Свободная обстановка Запада позволила мне хорошо оценить свой жизненный путь, взглянуть на него прозревшими глазами. Очень многое я не оправдываю из того, что мне приходилось делать. Но я не могу во всем упрекнуть себя за свои комсомольские годы. Это были годы неомраченной веры в большое будущее. Это были годы юношеского горения. И наверное, если бы мне снова пришлось вернуться к чувствам тех лет, я повторил бы свой путь без изменения.

Н. БОЧАРОВ

В уездном захолустье

Я родился 26 сентября 1907 года в Кронштадте. Отец мой, из крестьян, был тогда старшим унтер-офицером сверхсрочной службы во флоте. Позднее он поступил на Балтийский судостроительный завод, откуда после увечья, незадолго до революции, переехал на родину — в одну из деревень Сычевского уезда, Смоленской губернии. На получаемую от государства пенсию он открыл в родной деревне небольшую бакалейную лавочку. Сразу же после февральской революции отец, бывший член партии социалистов-революционеров, был избран в члены сычевской уездной земельной управы.

Октябрьский переворот я пережил в городе Сычевка. Тогда мне было 10 лет, и эти события отчетливо сохранились в моей памяти.

С утра на базарной площади собралось 200-300 человек, преимущественно ремесленников. Были и солдаты-фронтовики. С красными знаменами и с революционными песнями толпа направилась к зданию городской управы. Местные власти выслали против манифестантов свои «вооруженные силы» — единственного в городе милиционера. Его обезоружили и избили. После этого возбужденная толпа, с криком «Бей! Ломай! Грабь награбленное!» ринулась к складу, принадлежавшему князю Мещерскому (его имение было расположено в 25 верстах от Сычевки) и растащила хранившуюся в ней богатую коллекцию старинного военного и охотничь-

его оружия. Находясь тогда вместе с моими одноклассниками поблизости, я впервые в своей жизни увидел четырехствольное ружье. Его уносил какой-то крестьянин, с трудом пробираясь сквозь толпу, уносил молча и деловито... Так кончилась в Сычевке власть Временного правительства.

Надо признаться, что у меня и у моих сверстников как демонстрация, так и разгром склада князя Мещерского вызвали новые, до того неизвестные чувства. По примеру взрослых мы в тот же день направились к сараю бывшего полицейского участка города Сычевки и, проникнув в него, разобрали сваленные там старые ржавые шашки и пустые револьверные кобуры. Потом, вооруженные этими шашками и увешанные полицейскими ремнями, несколько дней подряд совершали набеги на оставленные без присмотра купеческие сады, с ожесточением рубили в них ветки фруктовых деревьев. Зачем рубили — неизвестно. Надо полагать, что в нашем воспаленном событиями детском воображении деревья купеческих садов казались остатками свергнутой власти...

Отец мой отказался сотрудничать с коммунистами, снова вернулся в деревню, занялся земледелием. Односельчане относились к нему с большим доверием. Воспитанный на народнолюбческих традициях, он всегда был готов помочь каждому и советом и всем, чем сам располагал в своем хозяйстве. Своим детям — мне и моему старшему брату — он тоже прививал чувства отзывчивости и взаимопомощи. Мы с братом следовали наставлениям отца и потому пользовались симпатиями со стороны крестьян нашей деревни.

Наша семья жила дружно. Пожалуй, единственным, что вносило разногласие, было отношение к религии. Отец был атеистом. Мать же, простая деревенская женщина — наоборот была набожной. Мы с братом инстинктивно тянулись к матери и вместе с ней, а иногда и одни, ходили в церковь. При этом нас захватывала обрядность церковных служб, торжественность церковных праздников. Отец, считая, что возраст сам определит наше сознание, не мешал матери воспитывать нас в религиозном духе.

Учиться я начал в соседнем селе, в сохранившейся еще старой приходской школе. Но в 1919 году в нашей деревне была открыта советская начальная школа или, как тогда ее называли, — «Трудовая школа 1-й ступени». Первое время эта школа помещалась в нашем доме. Я, естественно, пере-

шел в нее. Преподавала в ней присланная из города молодая учительница Клавдия Ивановна, из бывших курсисток. Жила она тоже в нашем доме. К делу обучения сельской детворы Клавдия Ивановна подходила с большой любовью и большим терпением. Для своих учеников не жалела времени и относилась к ним с большой сердечностью. Дети, в том числе и я, платили ей за это бесхитростной доверчивой привязанностью.

Клавдию Ивановну часто навещал ее брат Леонид, бывший студент, ставший командиром Красной армии. С пылким увлечением молодого идеалиста он истово верил в правоту коммунистической идеи, в октябрьском перевороте видел торжество народных чаяний, оптимистически смотрел на переживаемые трудности и разруху. Всегда подтянутый и бодрый, с огоньком в глазах, он заражал своей верой в светлое будущее всех, кто с ним соприкасался.

Молодая учительница и ее брат были теми первыми людьми, которые подготовили мое сознание к восприятию коммунистической идеи. Главным образом, пожалуй, именно Леонид. Приезжая, он сразу же приглашал меня к себе в комнату, брал с собой на прогулку и тогда развивал передо мной заманчивые картины будущей жизни, когда «не будет не только богатых, но и бедных». Леонид подкупал меня тем, что он разговаривал со мной, как со взрослым, не подчеркивал своего превосходства, интересовался моим мнением. В то же время, что-либо объясняя, он старался касаться наиболее близких мне вопросов, и поэтому отвлеченная и сложная теория раскрывалась передо мной просто и убедительно: делай, что хочешь — лишь не мешай другим; пользуйся наравне со всеми благами жизни; заботься в первую очередь о благе общем, ибо от него и только от него зависит твое личное счастье.



В 1921 году наша семья окончательно переехала в Сычевку. Я поступил в сычевское городское училище. Здесь я впервые услышал о комсомоле. Было это на перемене. Проходя мимо группы старшеклассников, я уловил непонятное для меня слово, остановился, стал прислушиваться. Речь шла о юношеской организации, которая помогает молодежи

строить новую жизнь, ведет борьбу с пережитками старого строя, защищает правовые и экономические интересы молодежи. Меня это заинтриговало.

Вскоре я познакомился, а потом и подружился с одним из членов Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) — Женей Ведерниковым. От него я не только узнал, что в городе уже имеется ячейка РКСМ, но и получил приглашение принять участие в очередном комсомольском субботнике «по восстановлению народного хозяйства».

Надо заметить, что Сычевка — небольшой провинциальный городок. В нем было, приблизительно, 30 000 жителей — в основном мелкие торговцы, мещане, ремесленники, уездная интеллигенция. Промышленность отсутствовала. Поэтому по существу никакого «народного хозяйства» в городе не было. Был лишь термин, заимствованный из инструкций, присланных из центра.

В тот день, когда я впервые принял участие в комсомольском субботнике, предстояло привести в порядок городской Народный Дом (клуб). Когда мы собрались, пришел секретарь уездного комитета партии Федоров и обратился к нам с небольшой речью. Он сказал, что раньше Народный Дом был местом увеселения сычевских купцов, теперь же, когда хозяевами страны стали рабочие и крестьяне, его надо сделать очагом культуры трудового народа; поэтому, восстанавливая этот дом и восстанавливая бесплатно, мы должны помнить, что работаем на трудовой народ, в том числе и на самих себя.

Потом я участвовал и во многих других субботниках: приводил в порядок городской сад, разгружал железнодорожную станцию от хлама, заготавливал топливо. Комсомольцы всегда приходили на субботник организованно, с красными знаменами, с пением революционных песен. Работали все с большим подъемом, споро и добросовестно, соревнуясь друг с другом в ловкости, в силе и выносливости. Энтузиазм комсомольцев на этих субботниках захватил и меня. Работа сближала. Появились новые знакомые — юноши и девушки, проникнутые чувством товарищества и готовностью отдать все свои силы делу революции. Меня потянуло к комсомольской организации, как обычно тянет молодых людей в спаянную и целеустремленную группу.

Родители не препятствовали моему сближению с комсомолом. Отец, еще не утративший революционного духа, хотя и

не разделявший политики большевистской партии, не видел в комсомоле ничего плохого.

Однажды случилось так, что я был приглашен на собрание сычевской комсомольской организации. Пошел охотно. На этом собрании председатель укома РКСМ, Жора Спицин, сделал доклад об очередных победах Красной армии и о том, как комсомольцы промышленные городов Советской России своим самоотверженным трудом на фабриках и заводах обеспечивают эти победы. Говорил Спицин с большим подъемом, заражая аудиторию верой в победное шествие революции. После него сразу же выступило несколько человек, заявляя о своей готовности пойти в ряды сражающейся Красной армии.

К этому времени я был достаточно развитым и начитанным пареньком. Атмосфера комсомольского собрания, на котором молодежь была полным хозяином и которое занималось разрешением серьезных политических вопросов «во всесоюзном масштабе», — увлекла меня и определила мое решение вступить в комсомол. Должен оговориться, что не только желание принять активное участие в строительстве новой жизни руководило мною при принятии этого решения. Не меньшую роль, пожалуй, сыграло и то обстоятельство, что старшие комсомольцы, как Женя Ведерников, Жора Спицин и другие были бойцами ЧОН*) и поэтому открыто носили пистолеты на длинных кожаных шнурах. Эти пистолеты, являвшиеся в нашем юношеском воображении знаком отличия особой избранной категории молодежи, пользующейся особым доверием, вызывали у меня и у моих одноклассников жгучую зависть. . .

В то же время мы понимали, что ношение пистолетов обязывает: бойцы ЧОН, в обычное время работавшие в своих учреждениях, в случае какого-либо местного выступления противников советской власти собирались по боевой тревоге в назначенном пункте, получали боевое оружие и шли на ликвидацию опасности. Но это нас не отпугивало, а, наоборот, в нашем представлении чоновцы выглядели героями, готовыми умереть в борьбе с врагами рабочих и крестьян.

В то время, о котором идет речь, в соседнем с нами Бельском уезде оперировал партизанский отряд бывшего офицера царской армии Маченика. Этот отряд периодически со-

*) Часть особого назначения.

вершал налеты на отдаленную, расположенную в глухих лесах, Ассуйскую волость, входившую в состав Сычевского уезда. Партизаны вешали местных коммунистов, поджигали государственные здания, забирали продовольствие и снова скрывались в лесах. Поэтому уездному ЧОН'у часто приходилось выделять оперативные группы для охраны волостного центра в Ассуйске.

Помню, однажды вечером шло комсомольское собрание. Вбежал дежурный по укому партии и объявил: «Боевая тревога! Всем чоновцам немедленно в штаб!».

Собрание было прервано. Мы все поспешили в помещение укома партии. Там Федоров, сообщив о появлении у Ассуйска отряда Маченика, зачитал список 20 членов партии и комсомола — бойцов ЧОН, которым предстояло немедленно выехать на помощь партийной организации Ассуйска. Выделенные тут же получили винтовки, патроны, гранаты и на пяти подводах выехали к месту назначения. Помню, что многие комсомольцы, не попавшие в список, искренне завидовали уехавшим. . .



По совету Ведерникова и Спицина я подал заявление в комсомол. Припоминаю, что тогда меня больше всего волновал мой возраст. Дело в том, что мне было всего лишь 13 лет. По уставу же, в РКСМ принимали с 14 лет. Но я был рослым, к тому же более развитым, чем мои сверстники и мои опасения оказались напрасными.

На собрании в укоме комсомола меня настойчиво рекомендовал Женя Ведерников. Выступив, он сказал, что я — сын советского служащего, из крестьян, что своим активным участием в комсомольских субботниках я уже неоднократно доказал свою преданность делу пролетариата. Женю поддержал Спицин. Приступили к голосованию. От волнения я не видел поднимающихся рук. Наконец Спицин произнес: «Единогласно!», — и сердце мое переполнилось чувством радости и гордости. . . Отныне я официально принадлежал к кругу революционной молодежи нашего городка, многие представители которой уже занимали ответственные посты в местных органах власти, были командирами караульной роты, работали в уездной ЧЕКА.

... Сычевская организация насчитывала тогда до 40 человек. Группировалась она вокруг укома комсомола, так как в городе не было особых объектов, где можно было бы организовать отдельные ячейки. Атмосфера в организации была исключительно дружеской. Старшие комсомольцы относились к более молодым по-братски: немного подтрунивали над нашими слабостями, но всегда готовы были оказать любую помощь.

Основной формой работы организации, кроме уже отмеченных субботников и выполнения отдельных заданий по борьбе с контрреволюцией, были собрания. Они служили школой политического воспитания комсомольцев. Как правило, на каждом собрании кто-нибудь из комсомольцев, согласен заранее разработанному плану, выступал с докладом или с информацией по текущим политическим вопросам. После доклада начиналась дискуссия, в которую руководители старались вовлечь как можно больше участников. Таким образом мы приучились составлять конспекты, логически излагать свои мысли, свободно держаться перед аудиторией и при этом были в курсе всех политических новостей.

Уком комсомола был для нас своего рода клубом. Сюда собирались почти ежедневно после работы и занятий. Обменивались новостями, советовались как организовать то или иное мероприятие. В частности, нас, учащихся городского училища, особенно волновал вопрос изменения методов преподавания в школе. Дело в том, что многие наши учителя продолжали преподавать по-старинке, нередко прибегали к физическим мерам воздействия. Нас это возмущало. По настоянию старших комсомольцев в дело вмешался уком комсомола и рукоприкладство в школе прекратилось. Но одновременно укомовцы «прочистили с песочком» и тех комсомольцев-учащихся, которые нарушали школьную дисциплину: вступали в препирательство с преподавателями, открыто курили, пропускали занятия, ссылаясь на загруженность комсомольскими заданиями.

Вне организации работа комсомольцев ограничивалась первое время культурно-просветительными мероприятиями. Последние сводились к постановке спектаклей и к организации концертов для населения города. Сначала мы использовали для этого помещение одного купеческого склада, где своими силами соорудили примитивную сцену и скамейки. Позже нам предоставили зал в Народном Доме. Надо сказать, что

интерес к театральной деятельности у нас был огромный. Он еще более возрос, когда в наш примитивный театр потянулась несоюзная городская молодежь. Наши спектакли охотно посещали также бойцы караульной роты и многие горожане. За вход никакой платы не требовалось, поэтому помещение театра в дни спектаклей было всегда переполнено. Тематика спектаклей всегда соответствовала революционному духу тех лет. Помню, что особенно большим успехом пользовалась драма из быта норвежских рыбаков «Гибель надежды» и советская пьеса «Осиное гнездо» — о борьбе красных с белыми.

Как уже упоминалось, руководил нашей организацией Жора Спицин. Воспитанный и исключительно внимательный к людям, он не только пользовался уважением членов организации, но и большим авторитетом среди населения города. Последнее обстоятельство способствовало росту организации. Для нас, молодых комсомольцев, Жора был постоянным примером для подражания. Меня особенно поражали эрудиция и ораторские способности нашего вожака. Не обладая бросающейся в глаза внешностью — он был невысокого роста — Жора Спицин с первых же слов завоевывал общее внимание любой аудитории, заражая ее своим темпераментом, покоряя неоспоримостью своих аргументов и красочностью примеров. В городе ходили слухи, что Спицин сын спичечного фабриканта, имевшего свои заводы где-то на севере. Это тоже возбуждало интерес к нему.

Очень часто наши собрания посещал секретарь укома партии Федоров. Всех комсомольцев он знал лично, обращался к каждому всегда по имени. Он проявлял большой интерес к нашей личной и общественной жизни. Со многими подолгу беседовал. Никому из нас не отказывал в помощи, если таковая требовалась по ходу комсомольской работы. Это сближало нас с партийной организацией уезда.

Контролируя работу нашей организации, Федоров проявлял большой такт и осторожность. Мне только лишь потом стало понятным, почему он так много времени отводил на разговоры с нами. Изучая каждого персонально, он отбирал наиболее политически развитых и обладавших организаторскими способностями комсомольцев на советскую работу, вовлекая их потом в партию. Многие комсомольцы по рекомендации Федорова были командированы на учебу в советские партийные школы. Между прочим, Женя Ведерников в

1922 году был послан в военно-морское училище, а Жора Спицин — переведен на работу в Смоленский губком комсомола.

Но бывали случаи, когда Федоров, желая повлиять на характер решений организации, встречал со стороны комсомольцев серьезные возражения. В частности, помню, особенно остро дебатировался у нас вопрос о содержании и формах комсомольской работы среди крестьянской молодежи. Федоров настаивал, чтобы сельские ячейки комсомола — их в уезде по существу еще не было, но уже ставился вопрос об их создании — работали под руководством сельских партийных органов и все свои силы направляли бы на выполнение заданий последних. Это означало буквальное подчинение комсомольских ячеек села партийным ячейкам и повлекло бы за собой отрыв комсомольцев от остальной сельской молодежи. Возражая Федорову, наши старые товарищи предлагали сосредоточить основное внимание сельских ячеек комсомола на организации культурно-просветительной работы среди широких масс сельской молодежи, группируя их вокруг школ, сельских клубов, изб-читален. Федоров был вынужден согласиться с этим мнением, но все же настоял, чтобы в решении было записано: «Работа сельских ячеек комсомола согласовывается с партийными организациями на местах».

Партийная опека связывала свободу действий комсомольских организаций и часто направляла энтузиазм молодежи не по тому руслу, которое сама молодежь предпочитала. Но коммунистическая партия была уже партией правящей, то есть партией, от которой зависело очень многое, в том числе и финансирование работы комсомола, посылки комсомольцев на учебу, выдвижение их на государственную работу и т. д. Поэтому наши старшие товарищи были вынуждены не только считаться с этой опекой, но и принимать ее, как должное.



На комсомольских собраниях, как я уже отмечал, нас знакомили со всеми событиями в жизни страны и коммунистической партии. Но, если признаться по-честному, многое из услышанного для меня, да и для других моих товарищей из

числа коренных жителей Смоленщины — оставалось непонятным, ибо в жизни нашего города оно не находило своего преломления. Например, нас информировали о дискуссии в ЦК партии и в партийных организациях крупных городов. Но мы не могли понять существа партийных споров, хотя наши руководители и пытались ввести нас в курс дела. До нас доходили слухи о Кронштадтском восстании. Но мы не знали причин возмущения матросов. Постепенно мы стали привыкать к этому. Мы стали считать, что Сычевка — провинциальная глушь (60 километров от ближайшей железнодорожной станции), что «Москве — виднее» и поэтому на все изменения политики в стране отвечали лишь своей готовностью «принять к сведению и исполнению» (фраза, наиболее часто употребляемая в наших резолюциях) все установ- ки, исходящие «сверху».

Однако к концу 1921 года мы почувствовали, что жизнь в стране меняется коренным образом. В городе стали открываться частные рестораны и магазины, стали возвращаться сбежавшие купцы. Появились лихачи, развозившие по ночам щегольски одетых мужчин и декольтированных дам. Это был нэп — временная уступка Ленина частнособственническим тенденциям народа; шаг назад, чтобы накопить резервы для решительного наступления вперед.

Реагировали мы на это по-разному. Наиболее старшие комсомольцы — особенно те, которых в Сычевку забросила революция и гражданская война — усмотрели во всем «возврат к старому». Некоторые из них стали спиваться; некоторые, бросив работу в учреждениях, куда-то срочно выехали. В партийной организации города тоже началось брожение.

Помню как тогда на улицах города часто стал появляться в пьяном виде начальник уездной милиции — старый член партии и герой гражданской войны. Дело дошло до того, что он был снят с работы и исключен из партии. Потом мне неоднократно приходилось быть свидетелем, как его полупьяного милиционеры волокли в его собственную квартиру, а он кричал на всю площадь: «Товарищи! За что же мы кровь свою проливали? За крашенных девок? За то, чтобы купчики наживались?».

Однако находились среди нас и такие комсомольцы, которые политику партии поняли, как победу рабоче-крестьянской революции. Среди них был, например, Прохоров. Крестьянский сын, в гражданскую войну он пошел на фронт до-

бровольцем и заслужил там боевой орден Красного Знамени. Вернувшись в Сычевку, он стал работать в учреждении и участвовал почти во всех операциях против отряда Маченика. Осенью 1921 года Прохоров без снятия с учета в комсомольской организации (то есть по существу вышел из комсомола) уехал в свою родную деревню, обзавелся хозяйством и очень скоро стал одним из состоятельных крестьян в округе. Много лет позже я узнал, что в 1930 году Прохоров был «раскулачен» и сослан в Нарымский край...

Я лично воспринял нэп положительно. В городе появились лакомства, которых мы давно не видели; появился кинотеатр, где можно было переноситься в заманчивую жизнь американских прерий, — для меня это было тоже своего рода «завоеванием» революции.



В начале 1922 года перед организацией была поставлена задача широко развернуть комсомольскую работу среди сельской молодежи уезда. Уездный комитет партии предложил комсомольскому укому выделить группу наиболее развитых и активных комсомольцев, знакомых с деревенским укладом жизни, чтобы сделать их инструкторами по организации комсомольских ячеек на селе. Я оказался в числе кандидатов. В укоме партии нам дали общие установки, как себя вести среди крестьян: не вызывать острых конфликтов, не проявлять администрирования, подчеркивать благожелательное отношение города к деревне. Нас связали с партийными уполномоченными, которые тоже направлялись в села для партработы, и снабдили соответствующими мандатами.

Мне досталась именно Ассуйская волость — самая отдаленная от уездного центра, затерянная в бесконечных лесах — та самая, где еще недавно «гулял» отряд Маченика. Ранним утром мы с партуполномоченным выехали на укомовских санях и доехали до первой деревни. Далее передвигались уже на крестьянских подводах, которые нам на основании наших мандатов предоставляли сельские советы.

Прибыв на место, я с секретарем волостной партийной ячейки и с председателем волостного исполнительного комитета наметил план посещения деревень и приступил к работе. Она заключалась в том, что каждый вечер в той или

иной деревне я собирал собрание молодежи; разъяснял, что такое комсомол и для чего он создан; рассказывал о работе сычевской комсомольской организации и призывал молодежь вступать в РКСМ.

Моя работа не везде имела одинаковый успех, хотя, надо признаться, некоторая часть молодежи всюду выслушивала меня с большим вниманием. Большую помощь мне оказывали местные учителя, особенно из молодых. Свою «миссию» до конца я не выполнил: пришлось вернуться в Сычевку. Случилось это так.

В одной деревне после собрания я был приглашен молодежью на так называемые «поседелки» (род общемолодежной вечеринки, где девушки и парни, засиживаясь до утра, танцуют под гармошку, поют, играют; здесь парни выбирают себе невест, а иногда и дерутся смертным боем из-за какой-нибудь местной красавицы, пуская в ход ножи и гири). Когда мы подошли к дому, где гуляла молодежь, мои спутники пропустили меня вперед, не предупредив, что в сениях нет пола и надо идти по узенькой доске. Полный чувством собственного достоинства, я решительно шагнул и... полетел вниз на кирпичи и разный деревянный хлам. Меня извлекли из ямы без сознания и с разбитой головой; сразу же отправили на крестьянских саниях в Сычевку.

Было ли это случайностью или чьим то умыслом — до сих пор остается для меня загадкой. В укоме комсомола меня выслушали, одобрили мои действия и даже с почетом освободили от дальнейших поездок по деревням. С этого времени к моей характеристике добавилось: «испытанный на деле боевой комсомолец».



В конце 1923 года мой отец пришел к мысли, что сельское хозяйство — его родная стихия, оставил службу в Сычевке и снова вернулся в свою деревню. Вместе с ним переехал и я. К этому времени произошло изменение в административной структуре сельских районов. В частности, было проведено укрупнение волостей. Если раньше в Сычевском уезде было 23 волости, то теперь их осталось лишь 7. Укрупнение волостей повлекло за собой увеличение аппарата волостных органов управления.

Я был принят на работу в аппарат Липецкого*) волисполкома на должность делопроизводителя. Не обошлось здесь, конечно, без вмешательства укома комсомола, который усиленно продвигал «испытанных на деле боевых комсомольцев» во всевозможные советские учреждения. Став на учет в волостной организации комсомола, я увидел, что почти все технические работники волостных учреждений были комсомольцами.

Комсомольская организация волости строилась в это время, примерно, по следующей схеме. Во главе всей организации стоял волостной организатор комсомола. Это было лицо назначаемое. Он входил в штат партийного комитета волости, то есть получал за руководство организацией жалование из партийной кассы. Далее шли комсомольские ячейки сел и деревень. Липецкая ячейка РКСМ носила название «базовой». Надо полагать, что такое необычайное название было ей присвоено потому, что она объединяла до 35-40 человек и задавала тон остальным ячейкам, так как в ней была сосредоточена вся комсомольская интеллигенция волости. Во главе нашей «базовой» ячейки стояло бюро, избираемое на общем собрании в количестве 3-х человек. Один из членов бюро являлся секретарем и нес персональную ответственность за работу ячейки перед волостным организатором комсомола. При выборах секретаря ячейки мы считались с рекомендацией волостных партийных органов. Остальные члены бюро избирались по нашему желанию без вмешательства сверху.

Работа нашей ячейки заметно отличалась от работы сычевской организации РКСМ, хотя и проходила приблизительно по тому же плану. Здесь, во-первых, сказывалась специфика деревни и, во-вторых, большая тяга сельской молодежи к культуре и просвещению, пробужденная ростом экономического благосостояния крестьянства после установления нэпа.

Просветительную работу мы проводили в театре, сооруженном местным помещиком в усадьбе еще задолго до революции, и в волостной библиотеке. В театре силами ячейки и местной интеллигенции ставились спектакли и концерты.

*) Не смешивать с городом Липецк. Речь идет об усадьбе генерала Хомякова, носившей название Липецы и расположенной в 24 километрах от Сычевки. Эта усадьба в описываемые годы стала волостным центром.

В библиотеке же, заведующим которой был наш комсомолец, регулярно проводились громкие читки газет, журналов и брошюр. Здесь также были организованы кружки: драматический, музыкальный, агрономический и ветеринарный. К руководству двумя последними кружками мы привлекли агронома и ветеринара. В результате наши кружки стали посещать и взрослые крестьяне. Работа кружков не проходила бесследно. Отдельные крестьяне стали переходить на многополье, применять правильный севооборот. Появились даже опытники, выращивавшие новые сорта зерновых культур и льна. Кое-кто стал разводить пчел, сажать фруктовые деревья, заводить породистый скот. Само собой разумеется, что эти крестьяне весьма благожелательно относились к комсомольцам. Однако, было немало и таких, которые относились к нам если не враждебно, то с нескрываемой иронией, считая всякое новаторство пустой затеей.

Наибольшие осложнения с крестьянами вызвала наша антирелигиозная пропаганда. Подчеркнутый «воинствующий» атеизм и связанное с этим поведение комсомольцев в быту и на улице, доходившее порой до хулиганства, — было особым комсомольским «шиком» того времени. В дни религиозных праздников группы комсомольцев ходили около церкви и под гармошку горланили: «Долой-долой монахов! Долой-долой попов! Залезем мы на небо, разгоним всех богов!» В страстную субботу под Пасху, когда в церкви шло богослужение, мы устраивали в театре антирелигиозные доклады, заканчивавшиеся танцами. Некоторые комсомольцы пытались, наперекор родителям, снимать в своих избах иконы. Все это, естественно, возмущало взрослых. И если крестьяне как-то сдерживали себя и не проявляли по отношению к нам актов противодействия, то лишь потому, что боялись власти, стоявшей на нашей стороне и поощрявшей нас на безумные выходки против церкви.

В связи с нашей антирелигиозной работой наиболее открыто подчеркивали свою враждебность к нам девушки. Завидев кого-нибудь из нас, они начинали распевать:

«Комсомольцы юные — головы чутунные,
Сами оловянные — черти окаянные»

или

«Комсомольцы-лодыри царя-бога продали,
Денег накопили,
Плещивого (Ленина) купили».

В комсомол девушки не шли. Я хорошо помню, что за все время в нашей ячейке было лишь 2 девушки: одна — приезжая учительница и другая — девушка из соседней деревни, вскоре перебравшаяся в Липецк, где устроилась на работу в волисполкоме кассиршей. Религиозность девушек была причиной многих трагедий. Бывало, полюбит «испытанный» на деле комсомолец красивую девушку, сделает ей предложение выйти за него замуж. Девушка, видя, что парень и зарабатывает хорошо, и одевается опрятно, и вежлив — дает согласие, но... при условии, чтобы обязательно венчаться в церкви. Тут-то и оказывается парень перед выбором: не венчаться — девушку потерять, обвенчаться — прощай ячейка! Раз а два, помню, любовь девушки брала верх над ее религиозностью — тогда уже ей приходилось порывать со своими родителями...

Я задумываюсь сейчас: что же было причиной нашего безбожия в дни нашей комсомольской юности? Вдумываясь в обстановку тех лет. И кажется мне, что прежде всего на нас повлияла революция, резко встряхнувшая деревню и обнажившая многие пороки дедовского уклада. С дедовским невежеством в нашем сознании ассоциировалась и дедовская вера в Бога. Кроме того, пробудившаяся у молодежи тяга к знаниям, при общем низком культурном уровне сельской молодежи, породила у нее слепую веру в печатное слово. А антирелигиозными брошюрами, написанными популярным доходчивым языком, примитивными книжонками о происхождении жизни на земле — нас буквально забрасывали...

Регулярно два раза в месяц ячейка проводила общие собрания. На этих собраниях обсуждались доклады о текущем политическом положении — главным образом, о происках «международной Антанты» против Советской республики. Мы принимали резолюции, в которых клеймили позором «английских лордов» и выражали свою солидарность с зарубежными «братьями по классу», борющимися за свою свободу. Почти на каждом собрании обсуждались «некомсомольские поступки» того или иного комсомольца — один принял участие в драке, другой гулял на свадьбе, третий оказался на вечеринке, где разучивал западный фокстрот и т. д. Рядовые комсомольцы относились к подобным фактам «некомсомольского поведения» довольно снисходительно, подтрунивали над провинившимися, голосовали за вынесение им вызы-

сканий с подчеркнутой иронией. Руководители, выполняя инструкции сверху и блюдя, в силу необходимости, нормы комсомольской морали, — старались превозмочь себя и хранить принятый ими официальный тон. Я помню лишь редкие случаи, когда применялось исключение из комсомола. Причиной бывало пьянство и венчание в церкви.

В январе 1924 года я был избран секретарем бюро комсомольской ячейки. В это время в Липецы пришло известие о смерти Ленина. Надо сказать, что ни у меня, ни у большинства членов нашей организации это событие не вызвало особых переживаний. Ленин в нашем сознании был одним из вождей партии — такой же, как Троцкий, Рыков, Калинин, Зиновьев или Бухарин. «Ну, умер Ленин, — думали мы, — конечно, это большая потеря; но остались другие, и ничего не изменится».

Согласно инструктивному письму из уездного комитета, мы вывесили траурные флаги, провели траурные собрания во всех ближайших деревнях. И на этом успокоились. Потом пришли новые инструкции. В них говорилось о «ленинском наборе» в комсомол. Мы снова добросовестно сделали все, что нам рекомендовалось «сверху» — провели траурные собрания, на этот раз уже чисто молодежные, призывая на них деревенских ребят и девушек «сомкнуть свои ряды над гробом Ильича». «Ленинский призыв» дал нам всего несколько человек. Мы составили соответствующий отчет и снова занялись своей обычной работой — культурно-просветительной и самообразовательной.



Осенью 1924 года я был выдвинут на должность председателя сельского совета, который охватывал 8 деревень, имеющих в совокупности 600 дворов. Одновременно меня избрали кандидатом в члены волостного исполнительного комитета и делегатом на уездный съезд советов. Такому выдвижению я полностью был обязан моей комсомольской организации и Липецкому волостному комитету партии, который видел во мне исполнительного и инициативного комсомольского работника, ничем себя не опорочившего.

Мне пришлось сложить с себя обязанности секретаря бю-

ро Липецкой ячейки. Однако, по настоянию волостного комсомольского организатора, я был оставлен в составе бюро ячейки и, таким образом, продолжал принимать участие в руководстве комсомольской работой.

По заведенному обычаю, я, как комсомолец-выдвиженец, периодически отчитывался перед ячейкой о своей работе в сельском совете. В случае необходимости, я обращался в ячейку за помощью, и она выделяла в мое распоряжение специальные бригады, которые помогали проводить те или иные очередные кампании. В частности, я пользовался помощью ячейки при взимании недоимок по налогу, при разъяснении значения и выгоды государственного страхования имущества, при обследовании имущественного положения крестьянских хозяйств, при борьбе с самогоноварением. Нередко я привлекал ячейку к заготовке дров для школ, к починке мостов и дорог, а также к заведенным в праздничные дни дежурствам по борьбе с хулиганством и пожарами. Ячейка, в свою очередь, требовала от меня, чтобы я расширил сеть красных уголков и читален. В административную деятельность сельского совета ячейка не вмешивалась.

Жизнь нашей ячейки не изобиловала событиями чрезвычайного характера. Расскажу лишь об одном, которое мне запомнилось. Было это не то в январе, не то в феврале 1925 года. Меня срочно вызвали в волостной комитет партии. Там созывалось внеочередное партийно-комсомольское собрание. Докладчиком был приехавший из Сычевки командир Красной армии. Он был обут в оленьи унты. Сопровождал его адъютант. Отсюда я заключил, что военный был высокого ранга. Не помню всего содержания доклада. Но докладчик говорил о Троцком, об его антипартийном выступлении и требовал резолюции о снятии всех приверженцев Троцкого с постов в Красной армии. Прибывшие на собрание, как и я, слабо разбирались в борьбе партийных верхов и в троцкистской оппозиции. Мы думали: раз такая установка, значит, так надо. К тому же, о Троцком мы уже не раз слышали, что он недоброжелательно относится к крестьянам. Поэтому мы все, как один, проголосовали за изгнание троцкистов из Красной армии. Это, пожалуй, было единственным собранием, когда я принимал участие в решении, направленном против оппозиционеров.

Крестьяне смотрели весьма равнодушно на тот факт, что ими управляет 17-летний паренек. Я это объясняю, во-пер-

вых, тем, что они уже привыкли во всех советских учреждениях сталкиваться с молодежью и, во-вторых, — они полностью были заняты своими хозяйствами и сельсовет их почти не интересовал. Зато сам я, сначала горячо взявшийся за работу и гордившийся своим положением, очень скоро потерял к ней интерес. Мне хотелось, как и каждому молодому человеку, ни о чем не думая, повеселиться в праздничные дни. Мне хотелось выпить в кругу друзей, спеть песню, потанцевать, поухаживать за девушкой. Но я не смел этого делать, так как положение председателя сельского совета — главы села и представителя советской власти в деревне — не позволяло этого. Кроме того, бесконечные стычки с крестьянами, вовремя не платившими налога или не желавшими выполнять те или иные повинности (выделить подводу для подвоза школьного имущества, предоставить ночлег какому-нибудь волостному или уездному представителю и т. д.) — порождали обостренные взаимоотношения.

Все это привело к тому, что я стал обращаться в исполком и в волостной комитет партии с просьбой освободить меня от обязанностей председателя сельского совета. Но там, видя мою исполнительность, очевидно, принимали мои просьбы за проявление юношеской скромности и отвечали отказом. Наконец, работа в сельском совете мне настолько осточертела, что в середине 1926 года я сдал все свои дела члену сельского совета и, ничего никому не сказав, уехал в Ленинград, где жили мои родственники. Через них я надеялся получить работу.

Мне удалось поступить чернорабочим на завод «Кооператор». Я обратился в заводскую комсомольскую организацию с просьбой помочь мне устроиться на более «чистую» работу. Но там, узнав, что я дезертировал, да при том еще и не снялся с комсомольского учета, — отнеслись ко мне с подчеркнутой враждебностью. Заработок чернорабочего в те годы составлял 1 рубль 30 копеек в день. Это меня не устраивало. Пришлось возвращаться в свою деревню.

Липецкая комсомольская организация рассмотрела мое «дело о дезертирстве», но принимая во внимание то, что я неоднократно просил освободить меня от обязанностей председателя сельского совета, ограничилась лишь вынесением выговора. Так закончилось мое дело и я устроился на работу в лесничество.



В том же 1926 году, накануне выборов в местные советы, мой отец по чьему то доносу попал в списки лишенных избирательных прав. Поводом послужило то, что до революции он имел бакалейную лавочку. Отец не смирился с положением «лишенца», подал кассационную жалобу в губернские органы.

Так как, по существовавшему положению на всех членов семьи «лишенца» распространялись ограничительные меры, — по настоянию волостного комсомольского организатора, на общем собрании Липецкой ячейки был поставлен вопрос о моем пребывании в комсомоле.

Здесь следует сказать несколько слов о липецком волостном комсомольском организаторе — кандидате партии Петре Константинове. Это был типичный партийный аппаратчик. В какой-то мере, хотя и односторонне развитый, регулярно закалявший себя физически, он вел самый настоящий пуританский образ жизни: не курил, не выпивал, не посещал молодежных вечеринок. Весь смысл своего существования он видел в безукоризненном выполнении всех партийно-комсомольских директив. Естественно, он был на самом лучшем счету у волостного партийного руководства и в уюме комсомола. Определенная часть наших комсомольцев из числа «чиновников» волостного советского аппарата даже старалась подражать ему.

Этот-то «грозный пуританин» от комсомола и пришел на собрание, чтобы добиться моего исключения из рядов ВЛКСМ (так была переименована комсомольская организация после смерти Ленина). Однако, к этому времени я уже числился «старым комсомольцем». Это усложняло дело. К тому же, губернские инстанции еще не прислали своего заключения на кассационную жалобу отца. Константинов настаивал на моем немедленном исключении из комсомола, но собрание молчало, кроме отдельных членов руководства ячейки, робко поддерживавших Константинова. В конце концов вопрос остался открытым.

Но сам факт, что на комсомольском собрании был поставлен этот вопрос, коренным образом изменил мое отношение к комсомолу. До этого я не мог себе представить, что я когда-нибудь могу оказаться за бортом комсомольской органи-

зации с ее своеобразными тревогами и радостями; не мог себе представить, что комсомольский коллектив, с которым я слился всем моим внутренним существом, может отказаться от меня, как от чужеродного тела. Вернувшись с собрания, я проанализировал все свои поступки и чувства, которые имели место со дня моего вступления в комсомол. Я не нашел в них ничего, что могло бы поставить меня вне организации. И тогда мне в голову пришла мысль, что комсомол стал уже другим, что партийный бюрократизм вытеснил из него существовавшие прежде товарищеские чувства. Буква циркуляра стала брать верх над юношеской непосредственностью. Этот процесс прошел как-то мимо меня: работа в волисполкоме, а потом на посту председателя сельского совета отнимала много времени, и я не вникал во внутреннюю жизнь организации.

Мои раздумья о перерождении комсомола приняли еще более определенный характер после одного случая. Как-то я не пришел на комсомольское собрание. Обычно за этим следовал «разнос» или «прочистка с песочком». Но на этот раз мне никто даже не напомнил о моем отсутствии на собрании: как будто я вовсе и не состоял в организации. Потом меня вообще перестали приглашать на собрания. Из этого можно было сделать один вывод — что организация стала безразлична судьба одного из ее членов. Но почему? Потому что отец когда-то имел свою лавочку? Но я этого никогда не скрывал от своей организации. Что же изменилось теперь? А изменилось многое.

Приглядевшись к липецкой организации, побывав в укоме, я увидел, что состав комсомола за последние 2-3 года сильно изменился. На смену Спициным и Ведерниковым почти всюду пришли люди типа Константинова. **На смену былому комсомольскому энтузиазму и творчеству пришли исполнительность и бюрократизм нового комсомольского поколения.**

Через несколько месяцев губернские органы отменили решение низовых инстанций о лишении моего отца избирательных прав. Вопрос о моем пребывании в комсомоле формально принял характер случайного недоразумения. «Конфликт исчерпан» — было записано в протоколе очередного собрания. Но этот конфликт не был исчерпан для меня лично. Внутренняя связь с организацией была навсегда потеряна. Кроме того, руководители комсомольской ячейки, чувст-

вуя себя неловко передо мной, стали избегать со мной встреч и откровенных разговоров. Я же внутренней вражды к ним не питал. Отношения приняли формальный характер и дальнейшее пребывание в организации было для меня уже тягостью.

В 1927 году, используя свои связи в уюме комсомола, я пошел добровольцем во флот. Там, уйдя с головой в чисто военную учебу, я совсем оторвался от комсомольской работы и, наконец, в 1928 году механически выбыл из ВЛКСМ. Надо заметить, что в эти годы механическое выбывание из комсомола было обычным и массовым явлением. Поэтому мой выход из комсомола не повлиял ни на мою личную жизнь, ни на мое дальнейшее продвижение по службе во флоте.

В. ГРИШКО

В комсомоле на положении «зайца»

I.

ДОКОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕРИОД

1. Детство, семья и воспитание

Я родился в 1914 году на Украине. Мои родители, происходившие из зажиточных крестьян Полтавщины, принадлежали к слою украинской провинциальной интеллигенции. До революции отец был офицером царской армии. Революция разрушила его жизненную карьеру, поэтому он стал убежденным контрреволюционером. Во время гражданской войны он некоторое время принимал участие в борьбе против большевиков, будучи в рядах украинской национальной армии Петлюры. Но по окончании военных событий, пользуясь общей неразберихой, вернулся в родную местность и устроился на службу в районном местечке.

Это было местечко полусельского типа. В нем и протекало мое детство.

В период нэпа наша семья жила неплохо. Отец служил в конторе при местном сахарном заводе. Кроме того у нас был небольшой участок земли, дававший нам возможность иметь собственные фрукты, овощи, домашнюю птицу и т. д.

Родители воспитывали меня в духе строгих патриархальных традиций. Они были убеждены, что советская власть

— явление временное, поэтому оберегали детей от всяких новых влияний. Особенно большое внимание уделялось религиозному воспитанию, а на этой почве прививалось уважение к авторитету старших, чувство святости частной собственности, а также культивировался местный сентиментально-украинский патриотизм. Это последнее, остро идущее в разрез с господствовавшей тогда антинационально-космополитической тенденцией коммунистической власти, уже в детстве создавало в моем сознании прочный антисоветский комплекс.

Одной из особенностей моего семейного воспитания в детстве было постоянное стремление родителей изолировать меня от влияния «улицы». Мне не разрешалось дружить с теми детьми, которые, по мнению моих родителей, были «плохими». Они сами подбирали для меня «соответствующее общество». Это обрекало меня на дружбу только с узким кругом детей мещанской интеллигенции, которые интересовали меня значительно меньше, чем остальная «уличная» детвора. Я стремился к более широкому и предприимчивому детскому обществу, нарушая родительские ограничения.

По натуре своей в детстве я был склонен к активному самопроявлению и потому стремился найти для себя более широкое поле деятельности. На этой почве у меня уже в раннем детстве проявлялся инстинкт бунта против суровой родительской дисциплины. Со временем это начинало даже приобретать форму своеобразного психологического конфликта с духом родительского воспитания.

2. Школа и советское влияние

Учиться я начал в 1921 году, когда школа (районная семилетка) была уже вполне советской. Атмосфера школьного воспитания оказалась совершенно противоположной духу моего воспитания в семье. Правда, советский дух школы в первых трех классах не оставил на мне заметного следа, но, начиная с четвертого класса (с 1924 г.), советское влияние начало остро вторгаться в мое детское сознание. Контрасты между тем, чем жило это сознание дома, в семье, и тем, чем питалось оно в школе, начали беспокоить и волновать мои мысли и чувства. Все то, что считалось святым и обязательным дома (религия, традиции, патриархальная мо-

раль, культ собственности и национальный патриотизм) — в школе отрицалось и порицалось, и наоборот — все главные элементы школьного воспитания (воинствующее безбожие, критика и осуждение традиций и «отсталой» семейной морали, коммунистическое антисобственничество и интернационализм) — сурово отбрасывались дома. Само собой разумеется, это создавало известную раздвоенность сознания и одновременно развивало своеобразный критический подход ко всему с позиции «средины». Ясно, что это способствовало моему раннему созреванию и лишало мой детский мир радостей, связанных с наивным, непосредственным восприятием окружающего. Все воспринималось в каком-то хаосе дисгармонии, и в результате — сознание развивалось среди противоречий и сомнений, без единого целостного идеала.

С 1924 года в школьной жизни появилась Детская коммунистическая организация юных пионеров-ленинцев. Сначала она была очень малочисленной и в нее входили только дети пролетарской бедноты местечка и дети приезжих партийных работников. Но постепенно она превратилась в массовую организацию, став центром детской самостоятельности и местом развлечений. В 1926-28 годах в старших классах школы появилась и комсомольская организация. Обе эти организации, являясь единственным полем для проявления юношеского активизма и энергии, начали привлекать к себе учащуюся молодежь. Большинство родителей крестьянских детей, относившееся враждебно ко всему советскому, запрещало своим детям вступать в эти организации. Но естественное стремление молодежи к участию в различных формах юношеской самостоятельности, находившейся в монопольном ведении пионерской и комсомольской организаций, — вызывало в ней дух бунта против родительского запрета; и многие мои сверстники по школе вступали в эти организации часто в атмосфере острых конфликтов с родителями. К тому же, эти организации специально пропагандировали и культивировали среди юношества дух бунта против родителей, играя на извечном конфликте «отцы и дети» и даже провоцируя своеобразную «войну» детей против родителей, противопоставляя «новый и прогрессивный мир» советской молодежи «старому и отсталому» миру ее отцов. Это тогда было даже главным мотивом советской литературы для юношества, что оказывало на молодежь свое влияние.

Мои родители категорически запрещали мне вступать в

пионерскую организацию и иметь какое бы то ни было общение с комсомолом. И, надо полагать, именно поэтому обе организации начали привлекать мое внимание. Стремление к самопроявлению у меня было так сильно, а запрет родителей казался таким несправедливым, что на этой почве нередко доходило до семейных неприятностей, когда я, по образцу героев советской молодежной литературы, восставал против воли родителей. Мне тогда в самом деле казалось, что родители мои «отстали», и их авторитет в моих глазах начинал падать. Тем более, что тогда, во время расцвета нэпа, советская действительность на Украине выглядела довольно неплохо, и казалось, что упрямая враждебность родителей к ней не имеет иных причин, кроме их «реакционности». Но все же семейная дисциплина победила, и я так и остался в стороне от пионеров и комсомола.

3. Особые моменты биографии

Стремление к самопроявлению, которое влекло меня к пионерам и комсомолу в школьные годы, наконец, нашло выход в иной форме юношеской самодеятельности. Рашающую роль в этом сыграл учитель украинской литературы школы, заметивший у меня способность к литературному творчеству и направивший мою энергию в эту сторону. В 1927 году он организовал в школе литературный кружок, и я стал председателем и «душой» этого кружка. Мы издавали свой литературный журнал, устраивали литературные конкурсы, читки и обсуждения литературных произведений и т. п. Но это был не просто школьный литературный кружок, а нечто большее: своеобразное товарищество юных талантов под опекой всесторонне одаренного учителя, занимавшееся внешкольной культурно-творческой деятельностью. В 1929 году, когда я уже закончил семилетку, кружок превратился в постоянную внешкольную организацию самообразования.

Осенью 1929 года началась кампания коллективизации крестьянства и ликвидации его зажиточного слоя («кулаков»). В это время мой отец, как «бывший петлюровец», был арестован ГПУ в числе первых «классовых врагов». Отцы некоторых моих товарищей из нашего кружка тоже пали жертвами коллективизации и «раскулачивания». Нам были закрыты пути в какие-либо высшие учебные заведения. Со-

ветская власть оказалась беспощадно жестокой к нам, и тогда мы поняли ненависть наших отцов к ней. В это время комсомол и даже пионеры были превращены во вспомогательные силы советского «социалистического наступления». Дети «кулаков» или «классовых врагов» безжалостно изгонялись из этих организаций. Комсомольская организация местечка сузилась и приобрела новый облик. В комсомоле остались только наиболее преданные советской власти молодые люди или же просто деморализованные и полупреступные элементы молодежи местечка.

Тогда (осенью 1929 года) произошло самое фатальное событие в моей жизни. Группа бывших учеников нашей школы, в том числе и я (мне тогда было 15 лет), написала и распространила среди населения нашего района рукописную антисоветскую листовку противоклассового и националистического содержания. ГПУ очень быстро обнаружило ее авторов. При этом вскрылось, что все мы были «литераторы», члены когда-то организованного в школе литературного кружка. Все принадлежавшие к этому кружку, а также его руководитель-учитель и даже директор школы были арестованы. ГПУ нашло, что все воспитание в нашей школе было «националистическим» и что наш литературный кружок был «контрреволюционной организацией». Как раз в это время на Украине была раскрыта подпольная петлюровская организация СВУ («Союз Освобождения Украины»), а при ней — молодежная организация СУМ («Союз Украинской Молодежи»). Нашу литературную группу причислили к этой организации.

Продержав полгода в окружной тюрьме, ГПУ в 1930 году приговорило нас (без суда, по решению «чрезвычайной тройки») на разные сроки заключения. Но те из нас, кто ко времени вынесения приговора не достиг 18-летнего возраста, получили «условный» приговор. Поскольку мне тогда исполнилось только 16 лет, я, получив «условно» три года заключения, был из-под стражи освобожден.

После этого я не мог уже дальше жить в родном местечке. Отец все еще находился в тюрьме, хозяйство наше было ликвидировано, а я, заклеянный как «классовый враг» и «контрреволюционер», притом осужденный, в любое время мог быть арестован снова.

Это было время, когда большинство провинциальной молодежи бежало из пораженных коллективизацией и репрес-

сиями сел и местечек Украины в крупные индустриальные центры и на новостройки, где рассчитывало найти новые пути к жизни. По совету старших, то же самое сделал и я. Не имея ни соответствующих документов, ни денег, в августе 1930 г. я уехал «искать счастья» в Харьков.

II.

ПУТЬ В КОМСОМОЛ И ПРЕБЫВАНИЕ В КОМСОМОЛЕ

1. В комсомольском окружении

В Харькове я сразу же нашел работу на строительстве тракторного завода (Тракторстрой). Там тогда требовалось очень много рабочих и туда принимали без особого разбора всех, не требуя никаких других документов, кроме какой-нибудь справки с места предыдущего жительства. Я получил работу в бригаде слесарей-водопроводчиков в качестве подручного (ученика) слесаря. Большинство рабочих на этом строительстве состояло из молодых людей комсомольского возраста. Среди них был очень большой процент комсомольцев. Как это отмечено в «Большой Советской Энциклопедии», — «Харьковский тракторный завод строился руками комсомольцев. На этой стройке в рядах передовых ударников было более 5 500 комсомольцев» (т. СССР, 1948 г., стр. 1727). Это соответствует действительности. Значительная часть этих комсомольцев была специально командирована комсомолом на строительство. Но еще больше молодежи было втянуто в комсомол уже на самой стройке.

На каждом строительном участке была большая комсомольская ячейка, а в каждой рабочей бригаде — комсомольская группа. Комсомольцы были организаторами так называемого социалистического соревнования между рабочими бригадами и звеньями бригад. Одновременно представители комсомола (в бригадах — организаторы комсомольских групп) все время проводили агитацию среди молодых рабочих за вступление в комсомол. Это осуществлялось в форме так называемой «индивидуальной обработки», а именно: определенные комсомольцы «прикреплялись» к двум-трем рабочим, не состоявшим в комсомоле, имея поручение от ор-

ганизации проводить среди них «разъяснительную работу» и вовлекать их в комсомол.

В бригаде, к которой принадлежал я, было 18 рабочих. Из них 7 были комсомольцами, 8 молодых (до 25 лет) — некомсомольцы и трое старших рабочих — беспартийные. Все молодые некомсомольцы, в том числе и я, были сельскими парнями, бежавшими из сел вследствие коллективизации. Кроме меня, как потом мне стало известно, еще трое были детьми «раскулаченных» и иных «классовых врагов». Но мы, конечно, утаивали свое прошлое и в бригаде старались быть наиболее дисциплинированными и исполнительными рабочими. Когда наша бригада, как и большинство рабочих бригад на строительстве, по инициативе руководителя комсомольской группы, объявила себя «ударной бригадой» и взяла на себя обязательство досрочно выполнить данный нам план прокладки водопровода, — я и подобные мне некомсомольцы оказались одними из самых лучших «ударников». И вот тогда нас, как отличившихся ударников, сам руководитель комсомольской группы начал интенсивно уговаривать вступить в комсомол. Он говорил нам, что комсомол — это организация «лучших из лучших» рабочих, что это большая честь — быть комсомольцем и передовиком среди других, и что такая честь принадлежит именно нам, ударникам. Почему на нас было обращено такое внимание, выяснилось потом. Оказалось, что комсомольская ячейка нашего строительного участка получила задание от комитета комсомола строительства превратить нашу бригаду, состоящую из молодых рабочих, в «комсомольскую ударную бригаду».

Предложение вступить в комсомол создавало для меня очень неприятное и опасное положение. Отказываться от такой «честь» означало обратить на себя внимание, как на «сомнительный элемент», а вступить в комсомол было, по-моему, просто невозможно, так как при поступлении нужно было подать подробные сведения о своем «социальном происхождении» и прошлом, а этого я больше всего боялся. Ведь нужно было лгать, а ложь впоследствии могла быть обнаружена, и я был бы наказан. Конечно, я был не прочь вступить в комсомол, я даже хотел этого из чисто практических соображений: принадлежность к комсомолу давала тогда большие привилегии при поступлении в высшее учебное заведение, а продолжение прерванного образования было моей заветной мечтой. Но я боялся вступить в комсомол «зайцем», то

есть с фальшивыми данными о себе. Поэтому я, не отказываясь от заманчивого предложения, выставял как аргумент против своего вступления в комсомол свою «неподготовленность» и разыгрывал роль «малокультурного» и «отсталого» деревенского парня. Играть такую роль было очень тяжело, и это доставляло мне известные моральные мучения.

2. ФЗУ и «комсомолизация»

Осенью 1930 года на Тракторстрое была открыта школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), названная «Стройучем» (строительное ученичество). Она предназначалась для двухгодичной подготовки квалифицированных молодых рабочих. Всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет, имевшим семилетнее образование, было предложено вступить в эту школу. Я тоже был принят в нее в числе нескольких сот молодых строителей. Большинство их было крестьянского происхождения, а среди него — очень много таких же, как и я, юношей с «темным» социальным происхождением и прошлым, которые, окончив семилетки, хотели учиться дальше, но не могли поступить в какую-либо иную школу, кроме ФЗУ (здесь не требовалось особых документов, а только справка о предыдущей работе на данном строительстве или заводе).

Однако среди поступающих в ФЗУ-Стройуч был также значительный процент комсомольцев, специально мобилизованных комсомолом в разных местах и посланных учиться в ФЗУ. (Компартия в свое время специально поручила комсомолу «взять шефство над школами ФЗУ», то есть взять на себя ответственность за дело подготовки «большевистских кадров социалистической промышленности»).

Комсомольская организация ФЗУ была основным руководящим звеном в жизни школы, а комсомольское воспитание — неотъемлемой составной частью всего учебно-воспитательного процесса. Таким образом, в проводимую комсомолом воспитательную работу в ФЗУ были автоматически и без исключения втянуты все ученики, независимо от их формальной принадлежности или непринадлежности к комсомолу.

Сначала в нашем ФЗУ приблизительно только половина

учеников формально принадлежала к комсомолу, но вскоре комсомольская организация поставила перед собой задачу добиться «сплошной комсомолизации Стройуча». Это задание было официально провозглашено в связи с 9-м съездом ВЛКСМ, в январе 1931 года, и сформулировано в двух лозунгах: «Ударные темпы обучения с целью освоения техники не за два, а за полтора учебных года!» и «Стопроцентная комсомолизация ФЗУ!»

Обучение в ФЗУ и в самом деле стало проводиться ударными темпами, в форме постоянного «соцсоревнования», которым руководила комсомольская организация. «Комсомолизация» же учеников происходила весьма своеобразным образом.

Почти все комсомольские собрания в ФЗУ были «открытыми», и на них должны были присутствовать (формально — «могли», но фактически — «должны») все ученики. На собраниях ставились задания по учебе и контролировалось их выполнение, причем для всех учеников, а не только для комсомольцев. На этих же открытых собраниях «прорабатывались» все пропагандные материалы комсомола, знание которых требовалось также от всех учеников. Собрания обычно заканчивались призывами вступить в ряды ВЛКСМ. В школе были созданы специальные «группы подготовки к вступлению в комсомол», в которых проводили занятия прикрепленные к ним комсомольцы, ознакомляя учащихся с программой, уставом и историей ВЛКСМ. После нескольких недель пребывания в такой группе, ученики, которые считались уже «подготовленными», получали анкеты и бланки для заявлений о вступлении в комсомол. Потом всех, кто подал заявление и заполненную анкету, вызывали на очередное комсомольское собрание, зачитывали заявление и данные анкеты каждого в отдельности и ставили на обсуждение кандидатуры поступающих. Каждый из присутствовавших комсомольцев мог делать «отвод» кандидату, если он считал, что последний почему-либо к комсомолу не подходит.

Главными мотивами для отвода обыкновенно считались: недисциплинированность в учебе и работе (ученики половину рабочего времени работали на строительстве), плохое поведение, а особенно — пассивность в соцсоревновании и плохие показатели по успеваемости. Очень важным мотивом

для отвода считалось также несоответствующее «социальное происхождение».

Но данные о социальном происхождении специально не проверялись, и фактически никто, кроме самого кандидата, его не знал и не мог знать, так как большинство учеников было из разных, чаще всего отдаленных местностей. Принимались на веру данные анкеты, в которой все, как правило, писали только то, что требовалось: «сын (или дочь) колхозника (или рабочего, или служащего)». Правда, иногда приходили откуда-то какие-то сведения о некоторых учениках, тогда их сразу же исключали не только из комсомола, но и из школы, как детей «ккласово-чуждых элементов». Было несколько случаев таких исключений, которые в показательном порядке «прорабатывались» потом на комсомольских и общеученических собраниях. Но вообще, как я заметил, такие случаи имели место только тогда, когда комсомольская организация специально кем-нибудь заинтересовывалась вследствие его несоответствующего поведения или же когда на кого-либо поступал донос. В общем же у меня сложилось такое впечатление, что руководство комсомола сознательно смотрело «сквозь пальцы» на вопрос о прошлом кандидатов в комсомол, принимая человеческий материал только в том виде, в каком он был оформлен в данное время, заботясь больше о достижении «стопроцентной комсомолизации», чем о социальной «чистоте» комсомольских рядов.

3. Вступление в комсомол

В январе 1931 года, после нескольких занятий в одной из групп для подготовки к вступлению в комсомол, я тоже в числе нескольких других учеников получил анкету и предложение написать соответствующее заявление. Имея уже перед своими глазами опыт с другими соучениками, я совершенно механически заполнил анкету, поставив в графе: «социальное происхождение» — «Сын колхозника», написал стандартное заявление с просьбой принять меня в комсомол.

Через две недели, на очередном комсомольском собрании, я был принят в комсомол. Процедура принятия была очень простой и короткой. После оглашения моих анкетных данных меня попросили выйти к столу президиума собрания. Секретарь ячейки представил меня присутствующим и спро-

сил, имеет ли кто-нибудь ко мне вопросы. Никаких вопросов не было. Тогда секретарь спросил, имеет ли кто-нибудь против меня отвод. Отводов тоже не оказалось. Были слышны только шуточные реплики, вроде: «Хороший парень», «Свой парень» и т. п. После этого состоялось открытое голосование. Все подняли руки «за». Тогда мне, как и всем другим, которые были приняты вместе со мной (около десяти человек), было объявлено, что «дело передается в комитет комсомола Тракторстроя на утверждение». В том же месяце, на следующем календарном собрании, всем нам объявили об утверждении нашего приема в комсомол и сразу же выдали временные комсомольские удостоверения. Через три месяца я получил постоянный комсомольский билет. Так я стал комсомольцем. Мне тогда было 17 лет.

Перед принятием и в момент принятия меня в комсомол я чувствовал себя очень тревожно, волнуясь за возможные неприятные последствия этой, на мой взгляд, опасной авантюры. Я боялся быть «разоблаченным», после чего меня неминуемо исключили бы из школы. Находясь в ФЗУ на положении «зайца», я все время чувствовал себя действительно позаячьи. Чувство постоянной боязни и неуверенности в себе превратилось в специфический комплекс «неполноценности» по сравнению с другими молодыми рабочими, которых я считал «настоящими советскими людьми». Поэтому, когда я так быстро и просто, без всяких осложнений, был принят в ряды «настоящей советской молодежи», чувство страха сменилось у меня чувством большого облегчения, подъема и уверенности в себе.

С вступлением в комсомол я приобретал «советскую полноценность». После этого я стал чувствовать себя органической частью ученического коллектива, с приятностью отмечая, что я уже «такой же, как и все прочие». Кроме того, вступление в комсомол автоматически решало тяжелую для меня проблему будущего, открывая мне двери к дальнейшему образованию. Это последнее вызывало во мне даже чувство благодарности и обязанности.

4. Первая ячейка (ученическая)

Первичная комсомольская организация, которая приняла меня в комсомол, называлась «комсомольская ячейка слесарного цеха школы ФЗУ-Стройуч». Она состояла приблизи-

тельно из 60 учеников слесарного отделения. Другие отделения (токарное, столярное и плотническое) имели свои отдельные ячейки, и все вместе представляли собой один «комсомольский коллектив школы ФЗУ-Стройуч». Это была комсомольская организация полуученического-полупроизводственного характера.

Местом постоянного нахождения нашей ячейки было здание учебного комбината ФЗУ, но так как половину времени рабочей недели все ученики отдельными бригадами работали на соответствующих строительных участках, — ячейка занималась организацией выполнения производственного плана путем социализации на своем участке. Мы все получали одинаковую плату — 120 рублей в месяц. Секретарь ячейки был обыкновенным учеником, который учился и работал вместе со всеми и ничем от других не отличался. Вообще принадлежность к руководству ячейки (бюро ячейки) не давала никаких привилегий, а только обязанности. Эти обязанности были, по существу, «собачьими» обязанностями: «подгонять» других в работе и учебе и отвечать за успехи и неуспехи всех. Поэтому никто не брал на себя эти обязанности охотно, а когда получал их (путем выбора на комсомольском собрании), то выполнял по мере своих способностей, чисто формально.

Состав руководства был очень непостоянным. За время моего пребывания в школе состав членов бюро менялся несколько раз. Никакой ни зависти, ни антагонизма рядовых членов комсомола по отношению к членам руководства ячейки не было. Бывали только отдельные бытовые конфликты, связанные с трудностями выполнения производственных заданий, контролируемых членами руководства. Вообще же атмосфера в ячейке была товарищеской, так как все были связаны общностью одинаковых заданий.

Общая масса комсомольцев нашей ячейки разделялась на молодежь двух категорий: половина состояла из тех, чьи планы ограничивались только достижением квалификации слесаря и получением соответствующей работы на строящемся заводе, а другая половина — из тех, кто рассматривал свое пребывание в ФЗУ только как средство к достижению возможности пойти учиться дальше. Ученики второй группы были более интеллигентными, и среди них, как это стало мне известно потом (я сам принадлежал к ним), было много непролетарской молодежи, скрывавшей свое прошлое. Для всех нас

и ФЗУ, и положение рабочего, и комсомол — были только необходимым средством для будущей жизненной карьеры. В связи с этим ученики этого типа были наиболее дисциплинированными и исполнительными, учились и работали лучше других, а также старались быть лучшими, более активными комсомольцами.

Поскольку показателем комсомольской активности было выполнение всех полученных комсомольских заданий («нагрузок»), то мы, ученики-комсомольцы второго типа, наиболее добросовестно относились к выполнению этих заданий и фактически были образцовыми комсомольцами. Между прочим, к такому типу принадлежал и секретарь всего комсомольского коллектива училища Михаил Гурский.

Гурский был на два года старше меня, родом из Винницкой области. В комсомол он вступил в 1930 году, на Тракторстрое, будучи одним из активнейших ударников строительства. В первые дни организации Стройуча, когда коллектив учащихся представлял собой еще сырую массу, когда еще многие не знали друг друга, он по своей собственной инициативе взялся за оформление комсомольской организации училища, проявив при этом исключительную энергию и большие организаторские способности. Это определило его дальнейшее положение в нашем учебном коллективе.

Несколько позже, когда Гурский был выбран секретарем комсомольской организации, он отдавал комсомольской работе все свое свободное время, ревностно следя, чтобы все задания комитета комсомола строительства не только выполнялись, но и перевыполнялись. При этом он не только «подстегивал» всех нас, но и сам не щадил своего здоровья и сил. На всех нас — и комсомольцев и некомсомольцев — Гурский производил впечатление молодого коммуниста-фанатика, выросшего в «пролетарской среде». Но мы ошибались. После окончания Стройуча Гурский за свою активную комсомольскую работу в училище, по рекомендации комитета комсомола Тракторстроя, был направлен на учебу в инженерно-строительный институт. И там, уже в 1934 году, он был по доносу разоблачен как «сын репрессированного священника, скрывший свое социальное происхождение и обманом пролезший в комсомол, чтобы стать советским инженером». Его исключили из комсомола и из института. . .

Я тоже добросовестно выполнял все комсомольские поручения. К счастью, в комсомольской работе училища не было

никаких других комсомольских обязанностей, кроме обычных ученических. Поэтому чего-нибудь особенно неприятного и вообще политического в этих обязанностях не было. Первая и единственная (постоянная) моя комсомольская «нагрузка» в этой ячейке заключалась в редактировании обще-школьной стенгазеты. В связи с моими литературными наклонностями эта работа не была для меня неприятной и я выполнял ее очень охотно.

За время моего пребывания в школе ФЗУ (1931-й и половина 1932 года) никаких ни внутренних, ни внешних конфликтов психологического или идеологического характера в связи с моим пребыванием в комсомоле я не переживал. Противопоставления комсомольцев и некомсомольцев в школе фактически не было, так как комсомольцами были все. Комсомольское, то есть коммунистическое, воспитание одновременно являлось содержанием и самого школьного воспитания. Над этим содержанием я тогда не задумывался: оно было для меня само собою разумеющимся, как единственно доступное. Несмотря на материальные трудности (постоянный недостаток питания, который особенно тогда чувствовался), антисоветских настроений среди молодежи моего окружения, да и у меня самого, в то время не было. Все трудности мы очень легко и просто оправдывали героическим напряжением «строительства новой жизни».

И действительно, вся жизнь вокруг нас проходила в атмосфере ежедневного напряжения в труде, под лозунгом досрочного выполнения постройки завода, — а в школе — под лозунгом досрочного окончания школы с наилучшими показателями.

Атмосфера постоянной борьбы за достижение конкретной общей цели (построение завода) увлекала наше воображение, будила энтузиазм и вовлекала в какой-то фронтовой мир, в котором забывались и даже не замечались трудности. Правда, так воспринимали действительность только мы, молодежь, а родители наши были полны глухого, но глубокого недовольства. Однако аргументы старших не производили тогда на нас большого впечатления, так как эти аргументы были исключительно материального порядка, тогда как мы в официальном оправдании всех этих трудностей находили много импонирующего молодежи внешнего идеализма.

Единственным моментом, который иногда вызывал во мне чувство раздвоенности, было сознание своего положения

«зайца» и опасение быть разоблаченным. Правда, постепенно и это чувство уменьшалось: прошлое забывалось, и иногда даже казалось, что у меня совсем уже «все в порядке», и я сам уже другой, новый человек. Постоянное демонстрирование себя в роли стопроцентно-советского не только превратилось в усвоенную привычку, но и вошло в сознание: наигранное превращалось в действительное, свойственное мне качество. Я начинал даже чувствовать себя тем, чем я себя показывал.

В это время начались первые успехи на любимом поприще — в литературе. В 1931 году я написал повесть, которая была напечатана в литературно-художественном журнале «Молодняк», издаваемом ЦК комсомола Украины. Осенью того же года Государственное издательство приняло к печати целую книгу моих повестей. Одновременно с обучением в ФЗУ, я посещал теперь вечерние лекции в филиале института журналистики на Тракторстрое и активно работал в рабочем литературном кружке, руководимом Всеукраинским союзом писателей. Все шло как нельзя лучше, и у меня не было никаких оснований для разлада с комсомолом, который являлся дорогой к достижению моих сокровенных целей.

5. Вторая ячейка (производственная, цеховая)

В мае 1932 года, когда Тракторстрой превратился уже в новопостроенный Харьковский тракторный завод (ХТЗ), состоялся досрочный выпуск нашего первого набора ФЗУ. Я получил работу слесаря точной механики в цехе точных приборов при центральной заводской лаборатории. Началась новая фаза моей комсомольской жизни — уже не в учебном, а в обыкновенном рабочем комсомольском коллективе ХТЗ.

Вторая комсомольская ячейка — цеховая ячейка, в которой я оказался теперь, сильно отличалась от ячейки в ФЗУ. Здесь комсомольцы (их было, кажется, человек 12) находились в окружении массы старших беспартийных рабочих. Из-за отсутствия партийной организации (в цехе было только два члена партии и один кандидат) комсомольская ячейка была здесь «руководящим ядром» рабочего коллектива.

Постоянно получая непосредственные указания от прикрепленного к ячейке партийного уполномоченного, ячейка

имела своим заданием проводить все указанные партией политические кампании и мероприятия среди рабочих цеха, а именно: организовывать ударничество и соревнование, возбуждать энтузиазм для выполнения всевозможных «встречных планов» и т. п. Таким образом, комсомольцы были в этом цехе олицетворением «генеральной линии партии» среди остальной массы рабочих. Это вызывало у рабочих не всегда дружелюбное отношение к комсомольцам.

В этой ячейке я впервые почувствовал тягостность принадлежности к комсомолу. Привыкший в ФЗУ не различать комсомольцев от некомсомольцев, я не умел соответственно вести себя в новых обстоятельствах и, даже стараясь выполнить комсомольские поручения, все же не выполнял их успешно.

Роль пропагандиста и организатора соцсоревнования — комсомольское задание, полученное мною — мне никак не удавалась, так как я относился ко всем рабочим одинаково по-товарищески и больше старался быть со всеми в хороших отношениях, чем добиваться от них выполнения задания. Кроме того, все мое внимание было сконцентрировано на литературных замыслах и на самообразовании, а для комсомольской работы не хватало времени. В бригаде, в которой я работал, соцсоревнование и выполнение планов шло все время плохо. Мы отставали. Комсорг и партийный уполномоченный были мною недовольны. Меня вызывали в бюро ячейки, «прорабатывали» на комсомольских собраниях, обвиняли в «отрыве от производственных интересов», в том, что я «плетусь в хвосте» и т. п.

Потом мне давали другие поручения производственного характера, но и с ними я не справлялся, за что получал разные новые комсомольские взыскания. Наконец мне поручили руководить работой цехового «красного уголка». Я поставил эту работу очень хорошо, она была отмечена в заводской многотиражной газете. После этого моя работа в «красном уголке» стала главным, чем я вообще занимался по комсомольской линии в цехе.

Жизнь и работа цеховой комсомольской ячейки были очень однообразными и неинтересными. Вся деятельность сводилась к бесконечной возне вокруг вопроса о выполнении и перевыполнении производственных заданий. Все комсомольские собрания были стандартными по своей форме и содержанию.

На собраниях, кроме разных актуальных вопросов производственного характера или актуальных политических вопросов (преимущественно «проработка» последних постановлений партии и правительства под углом применения их в конкретных условиях предприятия), ставились также индивидуальные отчеты комсомольцев о выполнении порученной им работы. Присутствие всех комсомольцев на собраниях было обязательным. Отсутствие на собрании без уважительной причины считалось крупным нарушением комсомольской дисциплины. Поэтому все комсомольцы, как правило, оставались на собрания, происходившие в цеху после работы в «красном уголке». Но все относились к обсуждаемым вопросам апатично, с нетерпением ожидая конца собрания и при каждом удобном случае старались «увильнуть» от участия в нем. Никакой активности по собственной инициативе на собраниях не было. Все главные выступления на собраниях обыкновенно были подготовлены заранее: секретарь поручал определенным лицам выступить по данному вопросу, в основных чертах указывая, о чем следует говорить. Он же, в свою очередь, получал указания, что и как говорить на собраниях, от партийного уполномоченного или от специальных инструкторов комсомольского комитета ХТЗ.

«Критика» и «самокритика» были искусственными, но обязательными. Фактически все выступавшие повторяли в разных вариантах установки вступительной речи (или доклада) секретаря ячейки или председателя комитета комсомола завода (последний появлялся при обсуждении особо важных вопросов). Все постановления и резолюции собраний были также подготовлены заранее, хотя предлагать их (читать) поручалось кому-нибудь из массы присутствующих.

Никаких специальных диспутов на собраниях ячейки не было. Не было даже серьезных дискуссий при обсуждении кандидатов на выборах и перевыборах руководящих органов. Вообще к выборам руководителей все относились безразлично, так как кандидаты не выставлялись по инициативе участников собрания, а предлагались сверху. Кандидаты подбирались на бюро ячейки и согласовывались с партийным уполномоченным, который почти всегда присутствовал на собраниях. Но объявлять имена кандидатов поручалось кому-либо из рядовых комсомольцев, и все знали, что он говорит не от своего имени. Правда, против каждого кандидата можно было выставить «отвод», но этим правом очень редко

кто пользовался, так как было известно, что пройти должен только одобренный свыше кандидат.

В нашей ячейке несколько раз переизбирались члены бюро (не справившиеся с работой члены заменялись другими), но секретарем все время оставался один и тот же — Федор Поташников. Это был вышедший из рабочей среды молодой механик, интеллигентный и образованный (бывший студент машиностроительного института, не окончивший его из-за слабого здоровья), хороший товарищ и исполнительный комсомолец.

Между прочим, характерно, что большинство членов руководства ячейки проявляли известную двойственность. При исполнении комсомольских обязанностей и на комсомольских собраниях они были сурово-официальными, отвечая требованиям «комсомольского поведения», но вне рамок официальной комсомольской жизни, в ежедневном товарищеском быту, они ничем не отличались от всех прочих и часто в личном общении высказывали совсем иные взгляды, нежели в официальной обстановке.

Таким был и Федор Поташников. Потомственный «пролетарий» он относился к советской власти как к своей, «рабочей» власти, был ей душой и телом предан. Но это не мешало ему довольно критически оценивать все плохие стороны советской жизни. Находясь в дружеских отношениях с ним, я заметил, что вне комсомольской работы он никогда даже и не упоминал о комсомоле, не интересовался им и забывал о нем. Было похоже на то, что он, как и многие другие руководящие комсомольцы, в официальное время просто хорошо играл заученную роль, а остальное время был сам собой.

За время моего пребывания в цеховой ячейке мне запомнился только один человек, который все время был (вернее — старался быть) во всех отношениях «образцовым комсомольцем», подчеркнуто проявляя себя таким даже и в быту. В ячейке он был постоянным «агитпропом» и свои агитационно-пропагандистские обязанности исполнял ревностно, на каждом шагу надоедая этим. Его не любили, никто с ним по-настоящему не дружил, и все побаивались его «большевистской бдительности».

И все же в 1933 году на него поступил донос. Оказалось, что он был сыном какого-то «классово чуждого элемента». Его исключили из комсомола и сняли с работы, но вскоре он

был снова восстановлен. Поговаривали, что он был связан с НКВД.

Вообще же исключение из комсомола, как правило, вело за собой и снятие с работы. Таких исключений за все время в нашей цеховой ячейке было только два. Второй исключенный был сыном известного в Харькове бывшего красного партизана. Последний за какой-то «уклон» был исключен из партии. Это было причиной исключения и его сына. Правда, формально он был исключен не за это, а за «несоциалистическое отношение к труду», проявившееся в «игнорировании комсомольских заданий» на производстве.

Рост ячейки путем приема в комсомол новых членов был незначительный. За год моего пребывания в этой ячейке было принято, кажется, три человека. Это объяснялось тем, что в нашем цехе почти не было молодых рабочих комсомольского возраста (до 26 лет).

6. Решающий перелом в сознании

Весной 1933 года вышла из печати моя книга повестей «Стык» — книга, посвященная жизни советской молодежи Украины в период «Социалистического строительства». Она была довольно хорошо принята официальной советской критикой (рецензия в журнале «За марксистско-ленинскую критику», № 10 за 1933 г.) Это был наивысший пункт в моей подсоветской жизни.

Но именно тогда, когда, казалось бы, я должен быть совсем счастливым и удовлетворенным, наступил самый глубокий кризис в моей жизни — кризис моего сознания, приведший сначала к психологическому отходу от комсомола и советской действительности вообще, а потом и к разрыву с ними. Как это случилось?

Той же весной 1933 года на Украине разразилась известная катастрофа голода, созданного коммунистической политикой. Правда, в Харькове голода не было, но в связи со сплошным голодом по украинским селам здесь не только сильно ощущался недостаток питания, но, самое главное, начался сильный наплыв голодающих крестьян, которые умирали ежедневно на харьковских улицах. Среди рабочих, как и везде среди украинского населения, распространились сильные «упадочнические настроения». Комсомольцы, как и все остальные, были охвачены этим настроением. Тем более,

что в связи с «прорывом» в колхозах вокруг Харькова (поля почти никем не обрабатывались), комсомольцев начали бросать целыми бригадами на работу в село (на два-три дня, по очереди). В селах мы видели ужасные картины разрушения и опустошения, и это еще больше усиливало «упадочничество». В тот период, как никогда, особенно ярко ощутилась фальшь официальной пропаганды о том, что будто бы никакого голода в стране нет, а имеются только «трудности роста». Все объяснения по поводу создавшегося положения, которые давались нам на комсомольских собраниях представителями высших органов комсомола и партийными агитаторами, оказались самоочевидной ложью.

Впечатления от зрелища вымирающих украинских сел в 1933 году на меня лично подействовали потрясающе. Все прежние, усвоенные от родителей «контрреволюционные» мысли и настроения, которые жили во мне до вступления в комсомол, которые толкнули меня на писание антисоветской листовки в 1929 году и привели в тюрьму, но которых я лишился было в последние, сравнительно «счастливые» для меня лично два года жизни в рабочем окружении Харькова, — снова пробудились во мне и начали быстро и усиленно развиваться.

Тогда я впервые остро ощутил чувство своеобразного стыда за свое пребывание в комсомоле, который начал становиться мне органически чуждым, как организация фальшивого коммунистического воспитания, находящаяся в руках враждебной моему народу коммунистической партии. Процесс перехода моего мышления в «контрреволюционном» направлении шел очень быстро.

Особенно же активизировал во мне этот процесс террор, который наиболее сильно разразился на Украине весной 1933 года в форме так называемой «борьбы против украинского национализма». Он был направлен главным образом против украинской национально-мыслящей интеллигенции и выразился в массовых арестах украинских писателей, ученых и общественно-политических деятелей, в том числе и видных украинских коммунистов. Тогда, в знак протеста против этого террора и вообще против политики большевиков на Украине, в Харькове застрелился самый популярный в те годы украинский писатель-коммунист Николай Хвильевой — духовный вождь национальной оппозиции среди украинских коммунистов (это оппозиционное течение было

названо «хвyleвизмом»). Потом покончил жизнь самоубийством один из старейших украинских большевиков, нарком просвещения Украины Николай Скрыпник, обвиненный в «украинском национализме».

Эти самоубийства произвели очень сильное впечатление на украинскую комсомольскую молодежь Харькова, воспринявшую их, как катастрофу украинского идейного коммунизма и как доказательство национальной трагедии Украины. Я был тоже одним из тех, на кого эти самоубийства подействовали потрясающе и отрезвляюще, разрушив все иллюзии относительно советской действительности. Именно после этого я, как и многие другие интеллигентные комсомольцы-украинцы, стал психологически переориентировываться в сторону украинского национализма, который был объявлен главным объектом борьбы коммунистической партии и комсомола на Украине.

Зная хорошо об этих настроениях среди комсомольской молодежи Харькова, ЦК комсомола Украины в конце мая 1933 года (через неделю после самоубийства Хвyleвского) созвал под лозунгом: «На борьбу против украинского национализма!» специальный «слет» комсомольской молодежи. Я, в числе отобранной группы комсомольцев из ХТЗ, был также участником этого «слета».

Он проходил в центральном харьковском клубе рабочих связи. Основным выступлением на нем была речь председателя Союза советских писателей Украины И. Кулыка. С большой речью выступил также специально присланный из Москвы известный комсомольский поэт А. Безыменский.

Эти выступления, полные барабанного коммунистического оптимизма и крикливого осуждения «украинского национализма», произвели на большинство присутствующих угнетающее впечатление. На сцену посыпались записки-вопросы к президиуму, содержание которых (некоторые из них были оглашены в заключительных словах Кулыка и Безыменского) было полной неожиданностью для руководителей «слета». В записках были требования прямого и честного объяснения причины самоубийства Хвyleвского, требовалось огласить предсмертное письмо писателя (об этом письме ходили уже целые легенды среди харьковской молодежи) и даже были выражения солидарности с «хвyleвизмом».

Наконец оппозиционный дух большинства собравшихся принял форму стихийной обструкции на заключительной

литературно-художественной части «слета». Когда открылась эта часть (Безыменский стал читать свою новую поэму «Трагедийная ночь»), более двух третьих собравших на «слет» сразу же покинули зал. Читка была скомкана.

Мои товарищи-комсомольцы из ХТЗ покинули этот «слет» в таком же подавленном состоянии, как и я. Между собой мы делились мнениями совершенно искренне и откровенно, высказывая свои симпатии Хвылеву и «хвылевизму». Больше того: после «слета» мы решили отыскать могилу Хвылевого. И действительно — пошли на городское кладбище на Пушкинской улице, где был похоронен писатель, нашли его безымянную могилу и вырезали ножом на свежей деревянной оградке надпись с эпитафией из одного произведения Хвылевого.

Через несколько дней после этого я имел неосторожность высказать открыто в кругу рабочих нашего цеха свои чувства симпатии к Хвылеву и его «националистическому уклону». Этот разговор стал известен партийному уполномоченному, прикрепленному к нашей комсомольской ячейке. Он вызвал к себе Потапникова и приказал немедленно созвать бюро ячейки и «проработать» этот случай со мной. Потапников предупредил меня о грозившей мне опасности и посоветовал, как я должен себя держать. Меня вызвали на заседание бюро и предъявили обвинение в «распространении нездоровых националистических настроений среди рабочих». Согласно дружескому совету секретаря ячейки, я признал и «осудил» свою «ошибку». Поскольку мое дело носило характер «идеологического уклона», оно было передано в заводской комсомольский комитет, а оттуда — в партийный комитет. Мне грозило немедленное исключение из комсомола со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но неожиданно все приняло иной оборот. Тот факт, что я, тогда 19-летний рабочий, был молодым начинающим советским писателем и автором недавно вышедшей книги, сыграл для меня роль спасающего обстоятельства. Меня вызвал к себе секретарь заводского партийного комитета и сурово, но в то же время и дружески сказал, что он должен бы передать мое дело в «спецотдел» (НКВД) завода, и это могло бы кончиться катастрофически; но, принимая во внимание мою молодость и мой «талант» молодого писателя, он решил этого не делать, ибо он верит, что все произошло вследствие мо-

ей «поэтической эмоционально-неуравновешенной натуры». Прочитав мне длинную лекцию об «опасности украинского национализма» и особо — об опасности «необдуманных» высказываний для меня лично, он закончил свой разговор практическим советом уйти поскорее с завода, например, пойти учиться, ибо таким людям, как я, как он выразился, «на заводе — не место».

Между прочим, этот секретарь парторганизации ХТЗ, проявивший такое человеческое отношение ко мне, позже (во время «ежовщины») был «разоблачен» как якобы причастный к раскрытому тогда «блоку троцкистов и украинских националистов», арестован и ликвидирован.

Я последовал его совету. Как только начался очередной набор студентов в вузы, я подал заявление в Харьковский государственный университет, выдержал экзамен и был принят на литературный факультет. Начался третий и последний этап моей комсомольской жизни — в студенческой комсомольской организации.

7. Третья ячейка — студенческая

Третья организация комсомола, к которой я принадлежал, представляла собой первичную ячейку дневного курса литературного факультета набора 1933 года (был еще и вечерний курс). На этом курсе (таких курсов на факультете было пять) училось тридцать шесть студентов, из которых почти тридцать были комсомольцами. Остальные были старше комсомольского возраста и из них двое уже состояли в рядах КП(б)У. Вообще же тогда в университете, особенно на гуманитарных и социально-экономических факультетах (философском, языковедческом, литературном, историческом и экономическом), большинство студентов было комсомольцами. Объяснялось это тем, что при поступлении в университет кандидаты-комсомольцы имели преимущества перед остальными и обыкновенно принимались первыми из числа выдержавших вступительные экзамены. Кроме того, в самом университете, как и вообще во всех учебных заведениях в те годы, происходила, хотя и не такая массовая, как раньше в ФЗУ, но все же систематическая «комсомолизация» учащейся молодежи.

Работа комсомольской организации в университете, как и на заводе, заключалась главным образом в мобилизации все-

го внимания студентов вокруг вопроса о выполнении и перевыполнении плана, в данном случае плана успешного усвоения учебной программы. Требовалось, чтобы каждый студент-комсомолец имел 100-процентную успеваемость (не имел неудовлетворительных оценок) и тем самым оправдывал государственные затраты на его обучение (обучение тогда было бесплатное, все студенты получали стипендию и обеспечивались общежитием).

Студенты, как и рабочие на заводе, были разбиты на бригады (группы), внутри которых существовала коллективная ответственность за успеваемость и поведение каждого. Показатели успеваемости бригад демонстрировались на специальных графиках и на «красной» и «черной» досках, куда записывались имена всех «передовиков» и «отстающих». Лучшие студенты — «передовики» прикреплялись к «отстающим» и должны были ежедневно помогать последним в учебе, подтягивая их к уровню «передовиков».

Группы и курсы, а также целые факультеты соревновались между собой за лучшие показатели. Соревнование освещалось в стенных газетах и общестуденческой газете-бюллетене. Так же, как и на производстве, в случае «прорыва» (то есть угрозы невыполнения плана) комсомольская организация устраивала «штурм» — лихорадочную борьбу за повышение показателей успеваемости.

В действительности это, конечно, очень мало помогало настоящему улучшению успеваемости, но создавало постоянную атмосферу напряжения и заставляло всех работать с удвоенными силами. Учеба выглядела, как обыкновенный напряженный и тяжелый труд на производстве. Вопросам подтягивания «отстающих» были посвящены почти все комсомольские собрания, на которых ставились на обсуждение отчеты групп и индивидуальные отчеты комсомольцев.

Наряду с этим, одной из главнейших задач комсомольской работы в университете было проведение систематического «марксистско-ленинского» идеологического воспитания. Оно заключалось в бесконечных «проработках» всех последних постановлений партии и правительства, всех материалов партийных и комсомольских съездов, конференций и пленумов ЦК, а также всех актуальных статей руководящей советской прессы.

Собрания, на которых проводилась эта работа, созывались регулярно каждые две недели, а во время особых общегосу-

дарственных кампаний и значительно чаще. Они были настолько скучные и однообразные, эти собрания, и представляли собой настолько неприятное и тяжелое бремя для всех, что «увеличение» от участия в них было обыкновенным бытовым явлением, с которым больше всего имело хлопот комсомольское руководство. А самое главное — эти собрания отбирали чрезвычайно много времени, необходимого для учебы.

Большинство студентов-комсомольцев относилось к комсомольской работе с плохо скрываемой антипатией. Только отдельные студенты, большей частью менее способные, возлагавшие свои надежды на комсомольскую активность, дававшую им «скидку» при зачетах, выполняли комсомольскую работу с известной долей энтузиазма.

Комсомольский коллектив университета не представлял собою чего-то единого, целого. В нем существовало своеобразное деление на две группы — соответственно наличию двух психологических типов комсомольца-студента. Эти два типа даже отмечались в быту специальными названиями: «активист» и «академист». «Активистами» были преимущественно те, кто сознательно делал ставку в своей жизненной карьере на комсомольскую работу, связывая все планы своего будущего с комсомолом и партией. «Академисты» же избегали комсомольской работы, углублялись в учебу, полагаясь только на свои способности. «Активистов» было меньше, «академистов» больше. Общее отношение «академистов» к «активистам» было даже враждебным.

Одним из главнейших видов комсомольского «активизма» в университете было уличение профессоров-преподавателей в различных «идеологических уклонах». В 1933—1935 годах на нашем литературном факультете главным «уклоном», который повседневно выискивался в лекциях профессоров, был все тот же «украинский национализм». Проявить «большевистскую бдительность» и заметить своевременно какие-либо признаки опасного «уклона» считалось самой большой заслугой комсомольца. На этом чаще всего и делали себе карьеру «активисты». Стараясь проявить «бдительность», «активисты» часто придирались к тому, что казалось им «уклоном» только по их невежеству. Из-за этого нередко страдали совершенно невинные люди. Именно за это больше всего «академисты» и ненавидели «активистов».

Кроме психологического деления на «активистов» и «ака-

демистов» среди студентов-комсомольцев университета сразу же наметилось деление на две социальные группы. Одна группа, представлявшая собой большинство общей массы студентов, состояла из трудовой молодежи сел или из рабочей молодежи крестьянского происхождения. Эта молодежь, имевшая за собой тяжелый жизненный опыт работы и быта в колхозах или на новостройках и заводах, была материально обеспечена очень плохо, ибо жила только на стипендии. По своей социальной природе она была стихийно-оппозиционной, и среди нее было меньше всего «активистов». Вторая же группа состояла главным образом из «золотой» молодежи — преимущественно из детей городской, в том числе и партийной, бюрократии. Она была лучше обеспечена материально и, вследствие привилегированного положения своих родителей в советской системе, была предана советской власти. Поэтому среди нее было меньше всего оппозиционных настроений и больше всего «активистов».

В студенческом быту эти группы были совершенно обособлены одна от другой, так как товарищеские отношения среди студенчества складывались по признаку бытовой и психологической общности, а в этом отношении между ними существовала заметная разница. В то время как все студенты первой группы жили исключительно в общежитиях, скромно укладываясь в крайне ограниченный бюджет стипендиатов, студенты второй группы жили при родителях и вели более широкий образ жизни. Между этими двумя группами также существовала заметная враждебность. Молодежь рабоче-крестьянского происхождения насмешливо называла представителей «золотой» городской молодежи кличкой «жоржики», а «жоржики» в свою очередь, презрительно называли всех представителей другой группы обобщенным именем «колхозники» (заменяя этой кличкой старое презрительное слово — «мужики»).

Кроме социальной разницы, между этими двумя группами была еще и национальная разница. Молодежь рабоче-крестьянского происхождения была почти исключительно украинской, разговаривала только на родном украинском языке. Городская «золотая» молодежь, наоборот, в большинстве происходила из кругов разнонационального, но руссифицированного мещанства и бюрократии, которые относились к украинскому языку, как к языку отсталой сельской провинции.

8. Оппозиционные настроения и мысли

Постоянная концентрация внимания всех студентов-комсомольцев на вопросах разоблачения «уклонов» среди профессоров и вообще окружающая атмосфера «уклономании» как-то сами по себе приводили к тому, что все мы постепенно становились не только своеобразными специалистами по распознаванию «уклонов» (так сказать, «уклоноведами»), но и сами, поневоле изучая все проявления «уклонов», проникались интересом, а потом и симпатиями к ним, так как находили в них много моментов, импонирующих нашим чувствам и мыслям. Естественный юношеский «дух противоречия» и склонность к духовному бунтарству находили свое проявление в том, что многие из нас в глубине своей души сами становились «уклонистами» и интересовались опасными «уклонами» уже не по обязанности (в порядке идеологического воспитания, проводимого на материалах разоблачения и критики «уклонов»), а в силу психологического влечения к ним.

Конечно, такая склонность к «уклону» зарождалась и проявлялась преимущественно в кругах «колхозников». Этому немало способствовало то обстоятельство, что студенты-«колхозники», живя в общежитии спаянными группами, все время обменивались мнениями по поводу текущих событий, до отказа наполненных фактами, связанными с разоблачением «уклонов».

Так скрытые индивидуальные симпатии к «уклонам» и «уклонистам» постепенно и незаметно превращались в групповые оппозиционные настроения, охватывавшие узкие кружки доверявших друг другу товарищей. Когда такому кружку становилось известно, что какой-нибудь научный труд того или иного профессора, или произведение какого-нибудь писателя «разоблачались», как источники «опасного уклона» и изымались из библиотек — эти книги сразу же доставались любой ценой, внимательно прочитывались, обсуждались и, конечно, усваивались. Сознание того, что все это было «запрещено» — связывало товарищей известной круговой порукой и придавало всему привкус своеобразного «подполья».

Подобная группа единомышленников образовалась и в нашей комнате. Нас было пятеро. Все мы были комсомольцами, «колхозниками» и скрытыми оппозиционерами. Все мы

вышли из кругов украинского крестьянства, все имели за плечами большой опыт всевозможных жизненных трудностей и личных огорчений, вызванных коллективизацией и разрушением наших семейных очагов. Одним словом, мы были похожи друг на друга, и это способствовало нашему взаимопониманию и доверию.

На протяжении первого года мы так сжились между собой, что на второй год представляли собой уже настоящую дружную семью. Так как мы все были литераторами и даже начинающими писателями, мы специально интересовались запрещенными украинскими писателями-националистами типа Хвылевого. Мы постоянно занимались изучением запрещенной литературы. Наши мысли и настроения развивались вполне определенно в сторону «украинского националистического уклона».

Углубившись в литературоведческую науку, я стал весьма критически относиться к своей предыдущей литературной деятельности и к своим ранним успехам. Со времени поступления в университет я совершенно перестал писать что-либо для печати, начав писать только «для себя» и своих товарищей. Глубокие разочарования, которые внес в мою духовную жизнь 1933 год, создали во мне сильную антипатию к официальному оптимизму, в духе которого должен был писать каждый советский писатель. Охваченный «упадочническим настроением», я писал пессимистические вещи, которые не могли быть опубликованы.

В то же самое время я начал постепенно игнорировать всякую комсомольскую работу, став отъявленным «академистом». Все это начало замечать комсомольское руководство. Меня не раз «прорабатывали» на комсомольских собраниях, как «пассивного», и в моем комсомольском деле, наконец, появился «выговор» за невыполнение комсомольской нагрузки. В общем, я попал на «плохой счет».

Зимой 1934—35 года, вскоре после убийства Кирова, когда на Украине началась новая волна массового террора против украинской интеллигенции (на этот раз против интеллигенции уже нового, советского поколения, в том числе и интеллигентов-комсомольцев), произошло новое событие, которое

поставило меня на грань исключения из комсомола. В прессе было объявлено о расстреле группы украинских писателей и поэтов, представленной НКВД в виде «подпольной украинской террористической организации националистов». В числе членов этой группы были расстреляны популярные молодые украинские поэты Влизько и Фалькивский — оба воспитанники комсомола.

Это был большой моральный удар для меня и моих товарищей. Оба расстрелянные были нашими любимыми поэтами, мы их знали лично, а с Влизько один из наших товарищей был даже в личной дружбе и переписке. После расстрела Влизько этот товарищ, уехав на зимние каникулы по окончании семестра, не возвратился обратно, исчезнув неизвестно где. Позже выяснилось, что он был арестован при попытке перейти западную границу. Наша комната и наш товарищеский кружок оказались под подозрением. Случайно в это самое время в нашей комнате состоялась товарищеская пирушка. Хотя ничего особенного, кроме небольшой выпивки, не было, но нам всем «пришили» дело о «пьянстве» и даже о «моральном разложении». Случай был громко расписан в студенческой газете, «проработан» на комсомольском собрании, и мы все получили «выговор с предупреждением», что считалось последней чертой перед исключением из комсомола. Нашу комнату расселили. Таким образом было ликвидировано наше содружество единомышленников.

После этого случая мы стали очень осторожными, начали даже усердно заниматься комсомольской работой, выполняя данные нам (в порядке «исправления») комсомольские «нагрузки». Я получил задание редактировать заводскую газету-многотиражку на харьковском заводе «Свет Шахтера», куда была послана специальная комсомольская бригада нашего университета, чтобы взять «на буксир» этот «отставший» тогда завод. Наша бригада занималась на заводе главным образом «полит-просветительной» работой. Со своей работой я справился неплохо, и мне казалось, что этим я уже загладил свои «прегрешения» перед комсомолом. Но так мне только казалось. На самом же деле, как я узнал об этом позже, «спецотдел» (НКВД) университета держал меня под постоянным наблюдением, и на меня готовились материалы не только для исключения из комсомола, но и для худшего.

III.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КОМСОМОЛА И АРЕСТ

В начале 1935—1936 учебного года наш третий курс литературного факультета был переведен из Харькова в Киевский университет. Причиной этого был перевод столицы Украинской ССР из Харькова в Киев, а главным образом — недостаток в Харькове научно-преподавательского состава, особенно на гуманитарных факультетах, где в результате «чисток» было ликвидировано почти 50 процентов преподавателей.

В Киеве, в конце первого зимнего семестра, и произошло то роковое событие, которое вдруг поставило меня не только вне рамок комсомола, но и вне рамок советской жизни вообще.

В результате наведения справок обо мне, «спецотдел» получил сведения, свидетельствующие, что я на протяжении пяти лет скрывал свое пребывание в тюрьме в связи с делом СВУ-СУМ и что мой отец — «классовый враг» и бывший офицер-«петлюровец». Моментально же было созвано комсомольское собрание, на котором огласили сенсационный материал.

Обыкновенно в таких случаях «зайца» заставляли выступать с самобичующей речью, признать свое «преступление» и просить прощения и снисхождения. За время моего пребывания в комсомоле мне приходилось быть свидетелем многих таких разоблачений. Несмотря на самобичевание и просьбы о снисхождении, «зайцы», как правило, в таких случаях все равно исключались из комсомола и изгонялись с работы. Поэтому я решил не ущемлять своей гордости перед товарищами и коллегами. Я сказал, что полученные сведения соответствуют правде и молча выслушал решение. Оно было единогласным (в таких случаях оно не могло быть иным) и звучало так: «Исключить из комсомола и просить ректора университета исключить из числа студентов». Просьба к ректору, конечно, была только формальностью, так как исключение из числа студентов в таких случаях наступало автоматически.

Выслушав решение, я в тот же вечер, бросив в общежитии свои вещи, уехал из Киева. Наступило время странство-

ваний в поисках работы. Я почти без конца путешествовал, пребывая в самых отдаленных захолустных районах Украины, «подрабатывая» в некоторых сельских школах, где требовалось много учителей. Я мог работать только временно, пользуясь своими старыми студенческими документами. Как только дело доходило до оформления меня на постоянную работу, я должен был уезжать, чтобы опять не быть раскрытым со стороны «спецотдела». Но НКВД в это время следил за мной. Летом 1936 года меня арестовали.

Уже находясь в Харьковской областной тюрьме, я узнал, что в университете были арестованы все мои ближайшие товарищи-комсомольцы. Более того, было арестовано много комсомольцев из руководящего состава комсомольских организаций Харьковского и Киевского университетов. Аресты были связаны не с моим делом, а вообще в связи с начавшейся кампанией против «блока троцкистов и украинских националистов», который якобы был раскрыт НКВД на Украине.

В Харькове был арестован секретарь комсомольского комитета университета, он же член Харьковского горкома комсомола, М. Любарский. Еврей по происхождению, он был обвинен в троцкизме и... даже в «украинском национализме». Был арестован и ректор университета. Зимой 1937 года, когда я еще находился в следственной тюрьме, аресты среди комсомольцев и партийцев достигли такого громадного размера, что в тюрьме большинство молодых политических заключенных было из комсомола.

На этом фоне мое дело перестало быть таким грандиозным, каким оно казалось мне сначала. Я был просто одним из многих, павших жертвой грандиозной чистки партии и комсомола от подозрительных и ненадежных элементов.

Зимой 1937 года меня судила закрытым судом «Спецколлегия» Харьковского областного суда и приговорила к трем годам заключения в «отдаленных исправительно-трудовых лагерях» и на год поражения во всех правах по отбытии наказания. Мне тогда было 23 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отбыв три года заключения в концлагере на Колыме, я в 1940 году возвратился на Украину, а потом, во время войны (в 1943 году) бежал за границу.

Свое пребывание в комсомоле на положении «зайца» я считаю случайным эпизодом, обусловленным обстоятельствами моей биографии. Но тем не менее, этот эпизод является характерным для биографии очень большого числа молодых людей моего поколения. Для многих тысяч детей, пострадавших от советской власти, комсомол, как и в моем случае, был неминуемым пунктом по дороге к нормальной советской жизни — и особенно для тех, кто хотел учиться и с этой целью должен был приобрести рабочий стаж и звание «рабочего» на заводах и новостройках.

Кроме того, комсомол, как массовая организация молодежи в СССР, на разных этапах своего развития прибегал к таким массовым вербовкам (например, массовая «комсомолизация» учащихся ФЗУ, как это было в моем случае), что пройти нормальный путь жизни молодого человека и не побывать в комсомоле было невероятно трудно. Общеизвестный факт, что на сегодня через комсомол прошли в Советском Союзе десятки миллионов людей. Я был одним из них, и я не чувствую ни вины, ни сожаления за это. Тем более, что из своего собственного опыта я знаю, что для большинства находившихся в комсомоле эта организация не была объектом их свободного выбора, а по существу принудительным (хотя и добровольным по форме) этапом их биографии.

Никакого особенного впечатления на мне пребывание в комсомоле не оставило. Все то, что характерно для комсомольского воспитания, характерно для советского воспитания вообще. В комсомоле не воспитывался какой-то особый тип советского человека. Кто прошел советское воспитание в комсомоле или вне комсомола (но обязательно под комсомолом), имеет те же самые, одинаковые для всех, черты.

О. КРАСОВСКИЙ

Так начиналась жизнь

Отец мой, выходец из крестьянской семьи, в раннем детстве остался сиротой. Учился он где и как попало, однако сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости. Позже поступил в высшее техническое учебное заведение и окончил его. К началу революции он был уже хорошо зарекомендовавшим себя инженером-строителем. Революцию принял с холодным безразличием и считал, что «бунт бессмысленный и беспощадный» скоро кончится, страсти улягутся, и жизнь войдет в нормальную колею. О политике он разговаривал лишь за вечерним чаем. И тогда с одинаковым сарказмом отзывался и о большевиках и о тех, из-за кого, как он говорил, «народ страдает» — о людях, «имевших до революции по десяти тысяч десятин земли и не знавших, как пшеница растет».

Отец был знатоком своего дела. В начале нэпа большевики предложили ему, в обмен на его опыт и творческую мысль, вполне приличные условия жизни.

Мать была дочерью банковского служащего, который в юности, до двадцать второго года своей жизни, ковырял сохой землю в далекой деревушке Тверской губернии.

Судьба отца моей матери — моего деда — настолько интересна, что о ней следует сказать несколько слов. Он рос в бедной крестьянской семье неграмотным, но смышленным парнем. Сельский сиделец казенной винной лавки, страстный шахматист, научил его этой игре и, скуки ради, поигрывал с ним на досуге. Шло время — крестьянский парень

превзошел в шахматном искусстве своего учителя. Оба стали играть «на интерес», по копейке за партию. Как-то, под пьяную руку, кабатчик проиграл деду по-тогдашнему большую сумму: пять рублей. На следующий день он, удваивая ставку, пытался отыграться и проиграл снова. Дошло до того, что вскоре дед мой выиграл у кабатчика всю его месячную вырубку, которую тот должен был внести в банк. Тогда, опомнившись, кабатчик взмолился. Дед вернул деньги, но взамен потребовал, чтобы сиделец обучил его грамоте.

В 1908 году дед был уже главным кассиром московской городской сберегательной кассы; сумел дать своим детям — моей матери и трем ее сестрам — гимназическое образование, скопил что-то около двадцати тысяч рублей, которые, правда, потом, в дни революции, потеряли ценность.

Итак, прошлое моих родителей корнями своими уходит в крестьянство, в землю, чего порой стеснялась моя мать, но чем любил бравировать мой отец, подчеркивая, что он «сын бедняка-крестьянина и сам батрак».

Родился я в Москве в 1919 году. В 1926 году семья переехала в Киев. Здесь отец рассчитывал осесть, если не навсегда, то надолго. Он купил на Бибиковском бульваре особняк с прекрасным большим садом. В доме часто бывали гости. Засиживались допоздна. Летними вечерами на уютной диким виноградом веранде пили бесконечные чаи с яблоками или свежим вареньем. Все разговоры, с чего бы они ни начинались, переходили в конце концов на воспоминания о «мирном времени». Оно рисовалось сказочно чудесным, и мне всегда становилось до боли обидно, что я не жил в это замечательное «мирное время».

Порой на веранду выносился граммофон — чудовищный аппарат с огромной трубой. Тогда по саду плыли хриплые звуки романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Разговор переходил на Панину, Вяльцеву, рассказывались анекдоты о Шалапине; отец рассказывал о своей дружбе с Морфесси, который, по общему мнению, жил припеваючи за границей.

Знакомые моих родителей принадлежали к различным социальным и национальным группам. Однако всех их объединяло неприятие советской власти.

Детство мое было солнечным и беззаботным. Когда мне исполнилось шесть лет, ко мне приставили воспитателя, Павла Агафоновича. Кроме обучения чтению, письму, арифме-

тике и географии, он преподавал мне также Закон Божий. Повторяя за ним слова молитв, я до глубины своей детской души возмущался тем явным безразличием, с которым мой наставник относился к ним. Мои вопросы, касавшиеся проблемы шитья рубах в раю, в которых святые изображаются на иконах, вопросы, почему у ангелов есть крылья, а у Бога их нет, — Павел Агафонович считал вздорными и возмутительными, не отвечал на них, и ему принадлежит нелестная заслуга в том, что религия в детском возрасте, да и позднее, не нашла в моей душе места и понимания. Молитвы стали скучной обязанностью. Я бубнил их вслед за учителем и, когда от скуки начинал вдумываться в смысл произносимых слов, они мне казались и смешными, и неразумными, и совсем никому не нужными.

Зато я пристрастился к чтению. Первой большой книгой, прочитанной мною, был роман Сенкевича «Огнем и мечом», случайно попавший мне в руки. Из прочитанного понял очень немного, но мне на всю жизнь запомнился удалец пан Заглоба.

В школе я не отличался особым прилежанием и учился до пятого класса кое-как. Однажды, когда я принес отметки за полугодие, отец швырнул на пол мой дневник и заявил матери: «Вот оно, твоё воспитание! Балбесом растёт и пастухом будет!» После этого я был отправлен в угол и поставлен на колени.

Вообще в угол меня ставили довольно часто — на час, на два, а то и на три, в зависимости от проступка. Поставив, не обращали на меня внимания, и я очень скоро сообразил, что в углу — от родительских взоров меня скрывал высокий валик дивана — я могу самым чудесным образом коротать время наказания, развлекаясь заранее припасёнными и спрятанными под диваном различными безделушками.

Читать я любил страстно. Читал Жюль Верна, Луи Буссенара, Майн Рида, Фенимора Купера уже в девятилетнем-десятилетнем возрасте. Еженедельно я получал от отца два рубля на приобретение книг. Купив новую книгу, я мчался во весь дух домой. Сначала рассматривал иллюстрации, потом забирался в отцовское глубокое кожаное кресло, запахался изюмом из мамшиной кладовки и читал запоем.

Однажды отец с иронической небрежностью отозвался о Жюль Верне. «Красивая, увлекающая детей фантазия», —

сказал он, и я почувствовал, как что-то у меня внутри рухнуло, разрушен до основания целый мир.

В одиннадцатилетнем возрасте я стал обладателем солидной библиотечки, куда входили и приключенческие романы, и множество книг из «Золотой библиотеки», и полная (дореволюционного издания) замечательная «Детская Энциклопедия», и ряд других.

В книгах, которые я читал, я ни разу не встречался со словами: коммунизм, социализм, советская власть и пр. В школе о политике нам тоже ничего не говорили — учили грамматике, арифметике, элементарным основам географии, ботаники и физики. В моей хрестоматии для чтения находился единственный рассказ о Ленине и его любви к детям. А в годовщину смерти Ленина учительница рассказывала о нем что-то скучное и неинтересное.

Моя жизнь этого периода до краев была заполнена бесчисленными мальчишескими интересами. Приход весны означал начало чудесного времени постройки и пускания корабликов, сооружения водяных мельниц, плотин. Домой я приходил мокрый и продрогший и отправлялся на два-три дня в постель. Весна переходила в лето. С летом наступали трехмесячные каникулы, а с ними — рыбная ловля, путешествия без ведома родителей «в дальние края» (на заросший бурьяном пустырь на окраине города), игры в индейцев и пиратов, драки с мальчишками «с другой улицы» и прочие прелести, делающие детскую жизнь необыкновенно содержательной, красочной и полной. Солнечная киевская осень была сезоном лазанья по чужим садам. На огромное количество фруктов в собственном саду внимания не обращалось. Таскание яблок и груш из чужих садов было увлекательным, волнующим и опасным спортом, пробой мальчишеского мужества. Поздней осенью мы ехали на четыре-шесть недель на юг — на Кавказ или в Крым.

Общество моих сверстников было двояким. С одной стороны, это были мальчишки с «соседнего двора» или, как говорилось дома, из «Восьмидесятого» (по номеру дома). Их родители, в большинстве своем рабочие табачной фабрики, дело воспитания своих детей полностью предоставляли школе, улице и мальчишескому коллективу. Мальчуганы, не чувствуя пристального внимания старших, которое если и проявлялось от случая к случаю, то выражалось в жестоких порках за разбитые соседские окна или за разорванные шта-

ны, — росли и развивались так, как этого им самим хотелось. Проводить время в их компании было весело и интересно.

Моя мать относилась к моей привязанности к сверстникам из «Восьмидесятого» весьма скептически и даже категорически запрещала «водиться с уличными мальчишками». Но эти уговоры на меня не действовали. Несмотря на то, что в социальном отношении я был чужд среде моих друзей из «Восьмидесятого», — но ни они, ни я этого не замечали, и среди них я был равным среди равных.

Другую часть моего детского общества составляли отпрыски знакомых отца и матери. Это были дети «из приличных семей». Они вели себя на глазах своих родителей чинно и благородно, но в глубине души считали себя несчастными чадами и завидовали тем своим однокласскам, которые могли безнаказанно лазать по заборам и деревьям и бегать чуть ли не по снегу босиком. Я не особенно любил эту часть своих сверстников.

Ежегодно с матерью, обычно зимой, в зимние каникулы, я ездил на две недели в Москву. Там были бабушка и дедушка, тетки и всякие дальние, мне мало известные родственники.

Не касаясь всех родственных связей, мало интересных посторонним, хочу остановиться на взаимоотношениях между дядей В. И. Морозом (мужем сестры моей матери) и моим отцом, в которых я разобрался позже, став уже юношей.

Подробностей ранней биографии Мороза я не знал. В 1917 году он принимал активное участие в революционных событиях. Гражданскую войну провел на различных фронтах сначала полковым, потом бригадным, а затем корпусным командиром. Был награжден орденом Красного Знамени, именным оружием, различными грамотами. Был близко знаком с Лениным, Фрунзе, Троцким, Зиновьевым. Дружил с Демьяном Бедным и Серафимовичем. По окончании гражданской войны он учился, затем занимал высокие административные посты: был директором ряда крутых московских промышленных предприятий (МОГЭС, завода ВЧС, позднее имени Орджоникидзе, Московско-Уральского трансформаторного завода и пр.). Мороз был глубоко убежденным, до конца верящим в коммунизм большевиком.

С моим отцом познакомился он в годы гражданской войны и случилось так, что с первой же встречи один другому не

понравился. Мороз охарактеризовал моего отца как «интеллигентского капиталистического прихлебателя», отец же сказал о нем однажды: «Коммунист и чекист, хотя и не последняя сволочь». После первого знакомства свояки больше не встречались, но к чести Мороза следует сказать, что он никогда не воспользовался своим положением, чтобы навредить моему отцу.

Бывая с матерью в Москве, мы навещали семейство Морозов, где нас самым сердечным образом принимали. Мороз не интересовался нашей киевской жизнью, не спрашивал об отце. Отец же, когда мать возвращалась в Киев, не спрашивал ее о семье Мороза.

Итак, мое детство протекало в полном отрыве от политической жизни страны.

Я знал, конечно, что когда-то, очень давно, «в мирное время», в России был царь, которого убили большевики, что живу я при советской власти, но чем в сущности эта власть отличалась от царской, я толком не представлял. Знал лишь из домашних разговоров, что раньше жилось лучше, что советская власть — «хамская власть». Но в то же время в школе иногда слышал, что царь притеснял рабочих и крестьян и последние называли его «кровавым Николашкой».



Приблизительно в 1928 году произошло нечто, что произвело на меня некоторое впечатление.

К нам забежал один из знакомых отца. Он был в возбужденном состоянии и рассказал следующее. В Купеческом саду рано утром сторож обнаружил на одном из старых дубов искусно выполненную резьбу в два метра высотой, шедшую вокруг древесного ствола. Были изображены страдания народа под коммунистической властью. Ленин был представлен в образе сатаны, а рядом с ним — измывающиеся над народом чертенята. Знакомый отца сказал, что люди толпами устремляются в Купеческий. По городу пополз слух о сверхъестественном происхождении резьбы, ибо трудно было представить, чтобы один или даже два-три художника в течение одной ночи смогли справиться с такой колоссальной работой (сторож Купеческого сада уверял, что накануне вечером еще ничего не было).

Отец — обычно не любитель сенсаций — изъявил желание поехать в Купеческий сад. Я взмолился, чтобы он взял с собой и меня. Поехали на извозчике. Около Купеческого (никто не называл его по-новому, Пролетарским садом) увидели мы необычайное скопление народа. Наряд милиции никого не пускал внутрь. В толпе говорили, что власти приказали срубить дерево, и приказ приводится в исполнение.

За вечерним чаем разговаривали о дереве в Купеческом саду, о смелом художнике. Потом начались воспоминания о пережитом в годы революции и гражданской войны.

Мои симпатии касательно участников гражданской войны до этого совершенно бессознательно склонялись в сторону красных. В советских фильмах они показывались благородными и смелыми героями, а белогвардейцы изображались бандитами. Из рассказов же в тот памятный вечер я мог подчерпнуть, что отец мой и все наши знакомые видели и переживали вещи, характеризующие красных совсем по-иному. Отрывочно помню, как кто-то рассказывал, что собственными глазами видел, как красные прибывали дюймовыми гвоздями пленным офицерам погоны. Кто-то рассказывал о расстреле белого офицера, который перед смертью попросил дать ему спирту, выпил залпом целый котелок и крикнул: «Теперь стреляйте, сволочи!» Я жадно слушал эти рассказы. Однако впечатления от всего услышанного были не особенно глубокими и вскоре поблекли под влиянием иных впечатлений и переживаний.

В 1929 году я впервые принял участие в первомайской демонстрации. Шагая в шеренге сразу же за оркестром, на начищенных медных трубах которого сверкало весеннее солнце, мы, мальши, были ошеломлены тем, что нам довелось пережить за несколько часов марша до Крещатика. Вокруг нас, впереди, позади — море людских голов, кумачевые полотнища, гремит музыка.

За руку меня никто не вел, как это обычно делала мать, попадая в толпу. Я был равноправным участником события. Мне наступали на ноги — я не обращал на это внимания и сам, сбиваясь с ноги, топтал задники впереди идущих. Вся обстановка действовала необычайно захватывающе и веселяще. В течение нескольких часов я успел разучить две-три революционные песни, которые нравились мне значительно больше, нежели надоевшие и скучные напевы граммофона «Отцвели уж давно хризантемы в саду...» Гордо задрав го-

лову, я орал во все горло: «Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка» и видел в своем воображении сияющий медью паровоз, мчавший всех в заманчивую даль.

После этого мальчуганы из «Восьмидесятого» в течение недели играли в демонстрацию: младшие ходили по двору и горланили песни, махая оставшимися от праздника бумажными флажками; старшие, взобравшись на стоявшую телегу, «принимали парад»...

Некоторое время спустя после Первомайского праздника в Киеве произошло событие, свидетелем которого мне довелось быть. Смысла его я понять не мог (в нем, кажется, и взрослые толком не разобрались), но оно запомнилось.

Как-то вечером я с товарищем возвращался с рыбалки. Подойдя к Еврейскому базару (его называли сокращенно Евбазом), мы почувствовали, что происходит что-то неладное. На Евбазе, несмотря на предвечерний час, былолюдно. Слышались возбужденные выкрики. Во весь карьер, минуя толпу, проскакали группы конных милиционеров. Вдогонку им неслись ругань и свист. Мы нырнули в кипящую человеческую массу. В толпе находилось несколько рабочих с «Ленинской кузни», рассказывавших о чем-то происшедшем на заводе. В это время где-то за домами многоголосый хор запел «Смело, товарищи, в ногу!» Людская волна хлынула в сторону песни и выхлестнула нас с мостовой на тротуар. Заметив поблизости овощной рундук, мы вскарабкались на его крышу и нашему взору открылась картина: по улице, идущей от вокзала, медленно приближалась людская масса. Люди спаялись с ней воедино, плечо к плечу, не строясь в ряды, а над ними гремела песня. Несмотря на то, что впереди колонны колыхалось несколько красных знамен, я сразу же почувствовал, что это была не такая демонстрация, в которой я недавно участвовал.

Вдруг со стороны бульвара Шевченко (бывшего Бибиковского) раздались какие-то хлопки. Люди, стоявшие вокруг нас, на мгновение замерли и вдруг бросились врассыпную. Грохнул винтовочный залп. Не понимая, что происходит, мы кубарем скатились на землю и пустились во весь дух к дому, где жил мой приятель.

Отец приятеля не успел даже выругать нас. На улице грохнул новый залп. Звякнуло лопнувшее оконное стекло.

Винтовочные залпы вскоре смолкли, слышны были толь-

ко хлопки револьверных выстрелов и топот ног бегущих людей — уже не толпы, а одиночек. Вскоре все стихло.

Я так никогда и не узнал действительной причины, вызвавшей описанный эпизод. Знаю лишь из разговоров взрослых, что на «Ленинской кузне» после этого прошла волна арестов, несколько рабочих было расстреляно. Упомянуто же это событие потому, что оно оставило во мне след, который имел значение в процессе моего формирования.

* *

*

В начале 30-х годов на политическом горизонте стали сгущаться тучи. Нэп доживал последние дни. Наши знакомые разъезжались. Кое-кто из них был арестован. Отец решил переменить место жительства. Весной 1931 года он продал дом, и мы переехали в Москву. Поселились в большой трехкомнатной квартире, недалеко от Самотечной площади. Несколько позднее приобрели под Москвой маленькую дачу с фруктовым садом. Отец поступил на службу в Народный комиссариат земледелия СССР. Я был определен в пятый класс школы, подшефной этому комиссариату.

Если в Киеве школьное воспитание почти не было связано с политикой, то в Москве бросалась в глаза его политическая направленность. Уже в начале учебного года, чтобы не отличаться от моих одноклассников, я дал торжественное обещание пионера, получил красный галстук и стал принимать активное участие в различных пионерских собраниях и сборах.

На уроках обществоведения мое знакомство с политической обстановкой и жизнью страны началось с изучения «Шести условий» Сталина, которые назывались «историческими».

Учительница обществоведения Пая Абрамовна, единственный член ВКП(б) в учительском коллективе нашей школы, рисовала нам радужные картины будущего социалистического общества, указывая на преимущества коллективизированного крестьянского хозяйства.

В то же время Москва наводнялась нищенствующими крестьянами, истощенными и оборванными, с голодными, закутанными в лохмотья детьми. Однажды рано утром я видел, как то ли умершую, то ли замерзшую в подворотне москов-

ского дома крестьянку два дворника и ломовой извозчик взваливали на телегу.

Как-то в школе один из учеников спросил, откуда взялись нищенствующие крестьяне. Пая Абрамовна ответила, что это лентяи, не желающие работать в деревне и что милиция скоро очистит от них город. Действительно, к середине зимы Москва была очищена от нищенствующих. Но зато она наполнилась молодым крестьянским людом, приехавшим из деревень в столицу в поисках работы и лучшей доли.

В то время Москва, как и вся страна, жила на карточки. Мой отец, как член ИТР, был прикреплен к закрытому распределителю «Б», где по специальному пропуску можно было покупать любые продукты, и в достаточном количестве. Анализируя свои детские ощущения теперь, я думаю, что и этот пример неравенства и несправедливости оставил свой след.

Стиль нашей московской жизни резко отличался от киевского. Старые знакомства отец восстанавливать не пожелал, а новых сторонился. «Времена не те!» — говорил он, когда мать предлагала пригласить кого-нибудь.

В Москве закончилось мое полутепличное существование. Пионерские сборы, разные кружки (я увлекался драматическим и авиамodelным), царившая в те годы бригадная система обучения с коллективным приготовлением домашних заданий — позволяли мне только на короткое время после занятий появляться дома. Пообедав, я вновь исчезал на три-четыре часа, вплоть до ужина. Незаметно меня захватила общественная работа в пионерском отряде, и помню, я был очень рад, когда меня избрали вожатым звена.

На демонстрацию в годовщину октябрьской революции я пошел с радостным биением сердца. Когда наша колонна вступила на Красную площадь, где гремел гигантский военный оркестр, я почувствовал, что мурашки побежали по моей спине. Почти пробегая мимо мавзолея, я чуть не вывихнул себе шею, стараясь среди стоящих на правительственной трибуне распознать Сталина. Сталина я не видел, но приметил белую бородку Калинина.

Мой интерес к чтению с приездом в Москву усилился. Но здесь произошел перелом. Я стал равнодушен к Жюль Верну и другим верным спутникам моих детских мечтаний. Отец подарил мне полное собрание сочинений Джека Лондона. Запоем я читал романы Виктора Гюго, Вальтера Скотта, Дюма,

Эжена Сю, был в восторге от Г. Уэльса, пытался читать Эптона Синклера, Стендаля и Золя. Читал и советских авторов. Больше всего понравилось: «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого и «Ташкент — город хлебный» Неверова. Пытался братья за классиков, но, за исключением рассказов Чехова и «Мертвых душ» Гоголя — классические произведения показали мне малозанимательными.

Московские киноэкраны встретили меня репертуаром, с которым я в Киеве только что начал знакомиться. Если кое-где еще и появлялись испытанные американские «боевики» в несколько серий с Дугласом Фербенком, Мэри Пикфорд и Гарри Ллойдом, то на большинстве московских экранов уже шли политически выдержанные советские фильмы.

Несмотря на появившийся интерес к политическим событиям, газет я не читал, а если и брал их в руки, то рассматривал только фотографии, да мельком прочитывал заглавия статей. Но спустя некоторое время мне пришлось заставить себя читать газетные сообщения. И вот почему.

Как-то вечером, за ужином, отец, просмотрев газету (он читал только «Известия»), отложил ее в сторону и начал рассуждать с матерью о политических событиях в Германии. Я читал книгу и не особенно прислушивался к тому, что говорил отец. Запомнились какие-то обрывки: что в Германии идет борьба между Гитлером и Тельманом и что, если в этой борьбе победит Тельман, во что отец не хотел верить («Немцы — народ солидный!»), то все в Германии кончится таким же безобразием, как и у нас.

Через несколько дней, на уроке обществоведения, Пая Абрамовна рассказала, что в Германии пришла к власти партия, влекущая страну к террору, хозяйственному хаосу и т. д. Заметив, что я углубился в разговор со своим соседом, учительница неожиданно спросила у меня фамилию возглавителя фашистской партии. Второпях, вспоминая слышанное от отца, я выпалил: «Тельман!» Класс встретил мой ответ дружным хохотом. С тех пор я стал регулярно читать газеты.

В седьмом классе из среднего ученика я превратился в отличника. Меня выбрали помощником вожатого отряда и членом учкома.

Учеба и общественные нагрузки поглотили меня целиком, и никакие упрасивания и протесты матери не могли заставить меня сойти с пути, на котором я оказался, сам того не замечая. Теперь, спустя более чем двадцать лет, трудно с пол-

ной объективностью сказать, увлекала ли меня в те годы сама идея коммунизма и толкнула на политическую и общественную активность, или же моему мальчишескому самолюбию импонировала некоторая видимость авторитета и власти, которые я приобретал, будучи активным участником общественной жизни школы и пионерского отряда. Вероятнее всего — и то и другое.

Порой я пытался говорить о происходящем в стране с отцом. Отец не уклонялся от разговоров, но доводы, которые он приводил, его сравнения с прошлым, его замечания, что я еще мал и неразумен — казались мне нежеланием старшего поколения отойти в сторону и уступить место пробивающейся молодой жизни.

Говоря о политическом воспитании, которое мы получали в школе, следует отметить, что оно почти ограничивалось влиянием, оказываемым на нас изучением (бывшего тогда в моде) обществоведения и частично влиянием пионерской организации. Вообще же преподаватели всех изучаемых в семилетке предметов старались давать нам знания, не отягощенные политическим балластом.

Своих школьных товарищей я к себе на дом не приглашал, хотя сам бывал у некоторых: стеснялся показывать свою домашнюю обстановку, которая казалась мне почти «буржуазной», чем я тяготился. Семьи моих товарищей ютились в комнатухах, по сравнению с которыми наша квартира со стильной мебелью, коврами, книжными шкафами, роялем, разными безделушками казалась верхом роскоши и уюта.

*

*

*

В феврале 1934 года произошло событие, разделившее мою жизнь на два четко разграниченных периода: жизнь до и после него. Органами ГПУ были арестованы мои родители. . .

Я знал отношение моих родителей к советской власти, знал, что они ее не признавали, не любили, больше того — ненавидели ее, но я также знал, что ни отец, ни мать не делали ничего, что могло бы быть расценено как антисоветское, контрреволюционное действие.

На следующий день, рано утром, я отправился к дедушке и бабушке. Печальная новость их не особенно удивила. Ба-

бушка, очень деловая и практичная женщина, заявила, что «слезами горю не поможешь» и что надо выяснить, где сидят мои родители и готовить передачу.

После месячного ежедневного хождения по тюрьмам нам удалось выяснить, что мать находится в Бутырской тюрьме; место заключения отца в течение трех месяцев оставалось неизвестным. Мы получили разрешение два раза в месяц передавать матери продовольственные посылки.

Накануне дней, когда принимались передачи, бабушка уже с вечера шла к тюрьме. Люди с кошелками, сумками, узелками, наполненными продуктами, всю ночь слонялись по улицам и переулкам, примыкавшим к тюрьме, чтобы одними из первых попасть в огромную очередь, образовывавшуюся в шесть часов утра, при открытии тюремных ворот. В восемь часов утра я сменял бабушку, и она шла домой спать, а я к 11-12 часам сдавал передачу.

Стоя в очереди часами, я узнал о существовании в моей стране иного огромного мира — мира заключенных. У многих приносивших передачи уже по году-два сидели в концлагерях близкие и дальние родственники. Эти люди со знанием дела обсуждали преимущества и недостатки тех или иных лагерей — говорили тем обыденным тоном, каким когда-то мой отец рассказывал о преимуществах или недостатках кавказских курортов.

После полуторамесячного пропуска занятий я явился в школу. Классному руководителю объяснил, что отсутствовал из-за тяжелой болезни родителей. Мне кажется, он догадался о характере «болезни».

В конце апреля мать была освобождена из тюрьмы, а в середине мая стало известно, что отец приговорен «тройкой» к пяти годам «исправительно-трудовых лагерей». Перед отправкой отца на этап мать и я получили десятиминутное свидание с ним.

Я с трудом узнал отца. Он очень похудел. Небритое, покрывшееся морщинами лицо его удивило меня выражением тупого отчаяния и полнейшей безысходности. Не помню, о чем говорил отец с матерью. До моего слуха доносились только обрывки фраз: в зале стоял шум от криков и рыданий. Когда тюремный надсмотрщик крикнул резким голосом: «Конец свидания!», — я увидел впервые в своей жизни, как

веки отца часто-часто замигали, глаза наполнились слезами. Он схватил мою голову обеими руками (обнять меня он не мог: между нами был двойной барьер), перегнулся ко мне и, обдавая страшным тюремным запахом, несколько раз поцеловал. Потом прокричал, чтобы я расслышал каждое слово: «Ты больше не ребенок. Что бы ни случилось, помни: отец твой тоже остался сиротой. Только настойчивостью и трудом сможешь проложить дорогу в жизнь. Живи с открытыми глазами. Смотри и учись, но глупостей не делай! . . .»

Мать решила ехать следом за отцом в Сибирь. Квартира со всей мебелью и дача были проданы. Я переехал на житье к бабушке, так как было решено, что я должен поступить в 8-й класс.

С начала первого учебного года в средней школе началась для меня совершенно новая жизнь — как домашняя, так и школьная.

С переходом в дом бабушки мне пришлось изменить большинство моих привычек. Тут у меня не было своего письменного стола, своего книжного шкафа и этажерки. Готовя уроки, приходилось довольствоваться краем обеденного стола, а книги и тетради складывать на подоконнике. За учебу я принялся с большой охотой. Записался в общественную библиотеку-читальню имени Лермонтова. Прочитывая все рекомендуемые преподавателями книги, просиживал в ней вплоть до закрытия. К этому времени относится мое знакомство с классиками. Учитель русского языка и литературы постепенно раскрывал перед нами сокровищницу родной литературы. Ему удалось в сравнительно короткий срок развить у меня вкус к ней, и я полюбил классиков.

С товарищами по классу я сближался буквально на тормозах. До середины учебного года ни с кем по-настоящему не дружил, никому своих мыслей неверял. Мною была пущена в школе версия, что мой отец умер в командировке, а мать оставила Москву. В школьной общественной жизни участия я не принимал, да ее в начале учебного года и не было. Мы, ученики восьмого класса, вышли из пионерского возраста, а комсомольской организации в школе тогда еще не было. В первую и вторую четверти учебного года я вышел абсолютным отличником и занял первое место по успеваемости в классе.

Мысль о том, что я — сын репрессированного, со всеми вы-

текающими из этого обстоятельства последствиями, часто беспокоила меня. Но вместе с тем арест отца, его заключение в лагерь и крушение привычной и легкой жизни не изменили моего отношения к действительности. Я знал, что отец мой — убежденный враг советской власти и поэтому кара, понесенная им, не казалась мне несправедливостью. Пытаясь быть предельно объективным, я выискивал доводы, оправдывавшие карательные органы. Не мог понять лишь одного: отца посадили в лагерь не за его отрицательное отношение к советской власти, а по обвинению в шпионаже, хотя отец мой не был и не мог быть шпионом.

В конце первого полугодия (то есть в конце 1934 года) в школе появился постоянный комсорг ЦК ВЛКСМ — Воробьев, который взял в свои руки руководство всей общественной работой в школе. Он часто появлялся в нашем классе, говорил о спорте, о новых кинокартинах; будучи страстным охотником, порою целую получасовую перемену посвящал охотничьим рассказам. Иногда он заводил беседу о комсомоле. Со всеми учениками он здоровался за руку и, в отличие от учителей, обращавшихся к нам на «вы», — говорил всем «ты». Воробьев нравился нам и мы охотно беседовали с ним. Однажды, на перемене, он взял меня дружески под руку и сказал: «Зайди после уроков ко мне, если не занят. Поболтаем».

После занятий я пришел в его кабинет. Он принял приветливо, усадил на диван, сам сел рядом. Я опасался, что он пригласил меня с целью «близкого ознакомления», боялся, что начнет спрашивать о родителях, о домашней жизни. Поэтому, сидя на последних уроках, судорожно старался предугадать возможные вопросы и подготовил на них соответствующие ответы. Но о домашних делах Воробьев не спрашивал. Похвалил за хорошую успеваемость, спросил, что думаю делать по окончании десятилетки, потом сказал, что пора восстанавливать пришедшие в полнейшую запущенность школьные ученические организации: учком и старостат. В семилетке я был членом учкома, что вероятно уже знал Воробьев, и поэтому предложил мне стать членом вновь создаваемого старостата. «Если выберут, конечно», — добавил он.

Мне польстило, что Воробьев обратил на меня внимание: как-никак комсорг ЦК ВЛКСМ! Льстила и его похвала за

учебу, импонировало предложение стать одним из семи членов старостата — высшего органа ученического самоуправления. Я дал согласие.

Собрание учащихся старших классов, на котором происходили выборы старостата, происходило в торжественной обстановке. В большом школьном зале, на сцене, под огромными портретами Ленина и Сталина, за столом президиума вместе с Воробьевым расселись семь кандидатов в члены старостата. Воробьев открыл собрание и зачитал список почетного президиума, в который входили все члены Политбюро ВКП(б) и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Косырев. После дружных аплодисментов, которыми автоматически, не задумываясь, при всяких подобных случаях привыкли мы отвечать на все предложения председателя собрания, дверь в зал отворилась и вошел незнакомый мужчина средних лет, начинающий полнеть, в полувоенной гимнастерке, в галифе и сапогах, с орденом Ленина на груди.

Воробьев, увидев вошедшего, вышел к трибуне и объявил: «Товарищи! Разрешите приветствовать прибывшего на наше собрание секретаря центрального комитета ВЛКСМ товарища Салтанова». Подождав, пока стихли аплодисменты, Воробьев предложил избрать Салтанова в президиум собрания.

Под аплодисменты Салтанов поднялся на сцену и сел к столу президиума. Никогда в жизни до тех пор я не сидел за одним столом с таким высокопоставленным лицом. Поэтому я буквально «ел» его глазами. Запомнились гладкие, розовые, чисто выбритые щеки, выдававшие отличное здоровье и довольство. Несмотря на подчеркнуто простой костюм, от него веяло холемостью и чувствовалось, что этот человек уверен в себе, в своем успехе и знает себе цену. Орден Ленина, сравнительно редкая награда в начале тридцатых годов, свидетельствовал о признании его заслуг правительством.

На собрании выступили с речами все кандидаты в члены старостата. Выступил и я. После всех произнес речь Салтанов. Он говорил о значении школьного самоуправления, о ведущей роли комсомола в жизни советской молодежи и кончил, провозгласив привычное: «Да здравствует великий друг, и учитель советской молодежи товарищ Сталин!» Во время речи Салтанова блеснул магниевой вспышкой фоторепортер «Комсомольской правды», а через два дня в этой газете по-

явился репортаж о нашем собрании вместе с фотографией президиума. Статью и фотографию я вырезал и долго хранил.

Старостат избрали единогласно в предложенном составе (иначе и не могло быть), после чего вновь избранные члены старостата показывали Салтанову школу. Салтанов остановился у школьной стенгазеты и, прочтя одну из статей, обратился ко мне: «Нехорошо, когда в статьях проскальзывают слова: «мальчишки», «девчонки». . . Это грубо и некультурно». Я растерялся и пробормотал что-то мало вразумительное.

Потом все прошли в кабинет Воробьева. Салтанов курил длинные, ароматные папиросы, от которых пахло тонкими духами, говорил он мало. С Воробьевым он был на «ты». Как позднее выяснилось, они были друзьями детства, хотя Салтанов был года на два старше Воробьева. Перед уходом Салтанов сказал, что его тревожит положение с комсомольской организацией в нашей школе (которой не было) и добавил, что постарается почаще к нам наведываться. Пожав всем руки, он уехал.

Вскоре Воробьев из учеников старших классов создал группу для подготовки ко вступлению в комсомол, которая занялась изучением программы и устава. Я в занятиях этой группы участия не принимал, отговорившись тем, что загружен работой в старостате (мне было поручено создание школьного радиоузла). На самом же деле я боялся, что при приеме в комсомол, при проверке биографических данных, выяснится, что я сын заключенного и меня в комсомол не примут. Воробьев особенно не настаивал, чтобы я был среди первых поступающих в комсомол, и получилось так, что ряд моих товарищей был принят в комсомол, а я остался в стороне.

Весной 1935 года Воробьев сказал мне, что надо в индивидуальном порядке до переводных экзаменов изучить программу и устав ВЛКСМ и подать заявление о приеме в организацию. Я обещал, что постараюсь это сделать и в течение нескольких недель избегал встреч с Воробьевым, а перед началом экзаменов, припертый к стенке, заявил, что отстал по математике и если буду готовиться к вступлению в комсомол, то не хватит времени на подготовку к экзаменам. Во-

робьев остался мною очень недоволен и взял слово, что в начале следующего учебного года я обязательно буду в комсомоле. До следующего учебного года было далеко, и я надеялся, что к тому времени найду причину для новой отсрочки.



На летние каникулы я поехал к матери, в маленький сибирский городок Мариинск. К моему приезду ей удалось хлопотать двухчасовое свидание с отцом.

Отец безгранично радовался моему приезду. Он интересовался моей учебой, успехами, советовал по окончании десятилетки поступить в медицинский институт. О лагерной жизни он почти ничего не говорил, лишь мельком сравнил свое лагерное существование с царской каторгой, возведенной в десятую степень.

В течение лета я видел отца еще два раза. Беседы наши носили сугубо личный характер. Однако, оброненные отцом отдельные замечания убедили меня, что он, никогда не питавший симпатий к советской власти, теперь со всей страстью ее ненавидит.

И я не осуждал его теперь, хотя и не разделял его чувств. Мне было очень жаль его, как отца, которого я любил и уважал. Но это чувство жалости к самому близкому человеку еще не в состоянии было заставить меня думать так, как думал он, и отказаться от взглядов, которые я считал единственно правильными.

Чуть ли не каждый день мне приходилось видеть колонны заключенных, шедших под охраной стрелков на работу и с работы. Измученный вид этих людей, преимущественно рабочих и крестьян, их тоскливые, угрюмые взгляды — все это было так непохоже на газетные карикатуры, изображавшие «врагов народа»! А ведь это и были живые, настоящие «враги».

Мое тогдашнее мышление было направлено на поиски аргументов, при помощи которых можно было бы оправдать несоответствие виденного с коммунистическим учением, несоответствие многих явлений окружающей меня жизни с элементарными, врожденными каждому человеку понятиями справедливости и гуманности. Я не мог признать в сотнях

и тысячах виденных мною заключенных действительных врагов народа. Я видел, что это был сам народ, его представители. . .

И тут я принял для объяснения незаслуженного страдания невинных людей слышанную где-то формулу: «Лучше осудить десяток невинных, нежели оставить одного виновного на свободе». Формула сама по себе, своей циничностью и бесчеловечностью, вызывала отвращение, но все же она была в состоянии если не оправдать, то объяснить видимое. А этого мне как раз тогда и не хватало.

За два месяца пребывания в Мариинске я достаточно ознакомился как с условиями жизни заключенных Сиблага, так и с жизнью коренного сибирского населения, которая в материальном отношении очень резко отличалась от жизни москвичей. Виденное в то время я не анализировал. Тогда не было у меня желания узнать и увидеть больше, нежели приходилось случайно узнавать и видеть. Что же касается упомянутых выше поисков аргументов, оправдывающих виденное, то искал я их редко и только тогда, когда чувствовал, что от нахождения их зависит сохранение моего душевного равновесия.

К началу нового учебного года я был уже в Москве. Встреча с комсоргом Воробьевым была очень теплой. Он рассказывал о своем летнем отдыхе, который провел у родителей в деревне, спрашивал нас о летних впечатлениях. Я никому не говорил, что летом был в Сибири.

В середине сентября мой соученик Борис Петровский, секретарь школьной комсомольской ячейки, передал мне анкету для вступления в комсомол, сказав, что делает это по поручению Воробьева. Я хотел было избежать заполнения анкеты, заявив, что не знаю членов партии, которые бы за меня поручились. Но из этого ничего не вышло: Борис назвал мне преподавательницу по истории и инструктора по политехнизации, сказав, что они не откажут мне в рекомендации. Делать было нечего.

Несколько дней я мучительно обдумывал создавшееся положение. Конечно, мои тогдашние-политические убеждения ни в коем случае не препятствовали моему вступлению в комсомол. Наоборот, быть членом коммунистической организации молодежи — вполне совпадало с моими желаниями и стремлениями. Но я создал о себе биографическую легенду; и теперь, при поступлении в комсомол, мне предстояло или,

как это официально требовалось от каждого «честного советского гражданина», разрушить свою легенду и навсегда отрезать путь для вступления в комсомол, или же пойти на обман, рискуя быть разоблаченным, но в случае удачи стать комсомольцем. В конце концов я решил рискнуть. Заполнил анкету, приложил к ней заявление и автобиографию, в которой написал, что отец мой разошелся с матерью и где он, я не знаю. После этого, получив необходимые рекомендации от двух членов партии, отдал все документы Петровскому и стал с волнением ждать результатов.

В октябре 1935 года меня вызвали на комсомольское собрание школы. Попросили рассказать свою биографию. Я повторил написанное. После этого мне стали задавать вопросы по программе и уставу комсомола, на которые я ответил без труда. Наконец, общим голосованием я был принят в члены ВЛКСМ. Но процедура на этом еще не закончилась.

Спустя некоторое время я был вызван на заседание бюро райкома. Решение об утверждении вновь вступающего члена комсомола здесь принималось в течение четырех-пяти минут, так как число вызванных в райком на утверждение исчислялось десятками.

Не помню, какие вопросы мне задавались на заседании бюро райкома. Я отвечал на них почти автоматически, все время ожидая коварного вопроса, касающегося моей автобиографии. Но она, видимо, никому не внушала подозрения. И я, после пожатия руки первого секретаря райкома, получил комсомольский билет.

Трудно точно охарактеризовать тот комплекс чувств, те настроения, которые овладели мной во время приема в комсомол. Во всяком случае, я чувствовал, что процедура приема является большим, знаменательным, а главное, положительным событием моей начинающейся жизни. Над всеми мыслями и чувствами довлел скрывающийся, почти панический страх возможного разоблачения. Я боялся, что моя биографическая легенда при тщательной проверке может быть раскрыта, и тогда не только вскроется тот факт, что я сын репрессированного, но меня обвинят в попытке «обманым путем пролезть в комсомол». А за этим последовали бы и отказ в приеме в союз и даже исключение из школы.

Страх разоблачения долго не покидал меня и после получения комсомольского билета. Связанные с этим душевные переживания и заботы наложили соответствующую печать

на мое дальнейшее поведение. Я старался вести себя так, чтобы мое поведение ничем не отличалось от поведения моих товарищей-комсомольцев, старался тормозить мою активность, чтобы не «выскочить особенно высоко», где проверка биографических данных более строгая. Не чувствуя вражды к советской власти и коммунистической системе, я с момента вступления в комсомол в душе считал себя чем-то вроде заговорщика-одиночки, которого в любой момент могут разоблачить.

В девятом классе школы между учениками углубилась и укрепилась дружеская спайка. Весь класс слился в дружную юношескую семью. Отношения между юношами и девушками носили здоровый характер. Хотя первая юношеская любовь порою и прорывалась, но она всегда оставалась в рамках чистой дружбы. И вот, в этой обстановке взаимного доверия и товарищества мне приходилось что-то скрывать, что меня тяготило и чем я не смел ни с кем поделиться. Мои друзья не догадывались об этом и это ни в малейшей степени не отражалось на наших отношениях, но безусловно отражалось на мне самом, на моем настроении.

Много позже я узнал, что не один я, а и еще несколько моих товарищей были вынуждены в те годы скрывать факты репрессирования их близких.



Практически мое вступление в комсомол не изменило моей школьной жизни, которая так или иначе протекала не в комсомольской организации, а в классе, превратившемся в сообщество молодых людей со сходными интересами и желаниями. Несмотря на то, что нас никто «сверху» не организовывал, в нашем классном сообществе царил дух хорошего, здорового коллектива.

Мы ходили в кино почти всегда целым классом. Нам всем нравились одни и те же песни, чаще всего песенки из любимых кинокартин или опереток. По несколько раз смотрели заграничные кинокартины, от которых приходили в восторг: «Петер», «Маленькая мама», «Катерина», «Под крышами Парижа», «Новые времена», «Огни большого города». Из совет-

ских фильмов мы принимали не все. Нравились нам такие фильмы, как «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Бесприданница». Мы все очень любили литературу и поочередно увлекались то одной книгой, то другой — не теми, конечно, которые стояли в нашей школьной программе по литературе. Книги ходили из рук в руки, порой они даже разрывались на части, чтобы все могли читать одновременно. Особенно большой популярностью пользовались: «Бравый солдат Швейк» Гашека, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, рассказы Хемингуэя, «Американская трагедия» Дрейзера, «Семья Оппенгейм» Л. Фейхтвангера и ряд других.

Особое место в нашем времяпрепровождении занимало слушание пластинок с песенками Вертинского и Лещенко. Чуть ли не полный комплект этих пластинок имел отец одной из наших девушек, занимавший высокий пост в одном из московских учреждений, и она часто тайком от отца приносила их к кому-нибудь на дом, где мы все собирались. Эти сборы носили некоторый конспиративный характер, в них принимали участие как комсомольцы, так и некомсомольцы. Но все, как один, «держали язык за зубами», так что Воробьев и не подозревал, что его комсомольцы «разлагают» себя «упаднической эмигрантской музыкой».

Часто у кого-либо из наших товарищей, живших в подходящих для этой цели квартирах, мы устраивали вечеринки с танцами под патефон. Танцевали не народные русские танцы, а так называемые «западноевропейские»: танго, фокстроты, румбы. Каждый революционный праздник праздновался нами двояко: официально — хождение на демонстрацию и неофициально — вечеринка с танцами, порой с играми, причем мы играли даже в старую «мещанскую» игру флирт.

У нас, как и у всех учащихся всех времен, были свою любимые и нелюбимые учителя — любимых больше, чем нелюбимых. Отношение к учителям было почтительное, хотя мы очень остро подмечали все их человеческие недостатки и слабости.

Почти половина моих одноклассников участвовала в работе драматического кружка, которым руководил популярный в Москве артист Ганшин — тонко чувствующий актер, талантливый режиссер. Силами своего класса мы поставили две пьесы. Готовили постановки со всей тщательностью, му-

чилились по-настоящему над раскрытием образов, репетировали без конца. Во всяком случае, по качеству игры мы безусловно стояли выше того, что мне позднее приходилось видеть на захудалых провинциальных подмостках в исполнении профессиональных актеров.

Если к сказанному добавить, что учебная программа средней школы была весьма обширной и все наши преподаватели стремились давать нам знания, превышающие программные требования, то можно смело сказать, что наша школьная жизнь была весьма насыщенной.

Все это — как личное, так и школьно-академическое — лежало в плоскости, не пересекающейся и не соприкасающейся с комсомольской организацией, вся деятельность которой, как я очень скоро мог убедиться, ограничивалась очередными общими собраниями. Собрания созывались не чаще одного раза в месяц и проходили настолько скучно и однообразно, что сами комсомольцы, в том числе и я, расценивали посещение этих собраний как отбытие своеобразной «комсомольской повинности». Вот, примерно, что сохранилось у меня в памяти об этих собраниях.

В назначенный день, вечером, после окончания занятий второй смены, комсомольцы школы собирались в одном из пустующих классов. (Надо заметить, что Воробьев, любитель парадности, пытался ввести правило проводить собрания только в актовом зале; но из этого ничего не вышло: комсомольцы-учащиеся испытывали привязанность к своим классам и в актовом зале чувствовали себя весьма неудобно). Как правило, опаздывающих не было. За редким исключением, на собрание являлись все. И это несколько не противоречило тому, что все мы считали комсомольские собрания скучной необходимостью. Комсомольцев притягивали в школу не сами собрания, а потребность встретиться с товарищами из других классов, возможность проводить домой после собрания девушек-комсомолок.

Собрания открывал Борис Петровский. Воробьев присутствовал на всех собраниях непременно, но не вмешивался в их организационную часть. (Как потом мне стало известно, после каждого собрания он беседовал с Петровским, указывая ему на те или иные промахи). Избирался президиум. При этом каждый, как только мог, старался избежать «чести» быть избранным председателем или секретарем, так как на обоих возлагалась обязанность составлять потом протокол

собрания. Оглашалась повестка дня (составленная заранее в бюро ячейки и отредактированная Воробьевым). В нее обычно входили следующие вопросы: 1) обсуждение того или иного политического события в стране, в партии или в комсомоле (важное постановление советского правительства, очередное решение ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ); 2) обсуждение текущих дел комсомольской организации школы (рост организации, политико-просветительная работа, повышение успеваемости учащихся, культурно-массовая работа, оборонная работа, работа с пионерами и т. д.); 3) организационные вопросы (прием в члены ВЛКСМ, разбор проступков отдельных комсомольцев, назначение лиц, ответственных за тот или иной участок работы). Повестка дня принималась без обсуждений и добавлений. С докладами по вопросам первой категории всегда выступал Воробьев. Резолюцию предлагал кто-нибудь из членов бюро ячейки. Но она всегда была составлена заранее на предварительных заседаниях бюро и автором ее всегда был Воробьев, ревностно следивший за тем, чтобы в организации, за работу которой он отвечал, не было никаких политических ляпсусов. Он, Воробьев, знал и общеупотребимый стиль резолюций и соответствующие лозунги «момента», что было совсем не по плечу комсомольствующемуся. Эти резолюции всегда принимались единогласно и без поправок. С докладами по вопросам второй категории выступал уже Петровский. Иногда собрание заслушивало отчеты комсомольцев, отвечавших за тот или иной вид работы. В таких случаях собрание принимало более живой характер. Особенно тогда, когда отчитывающийся не знал, о чем ему докладывать. Чаще всего это случалось с комсомольцами, отвечавшими за политико-просветительную работу, то есть за работу кружков текущей политики, за выпуск стенгазеты. Тогда в классе слышались шутливые реплики, подсказки, вроде «Сваливай все на загруженность школьной программы!» или «Говори, что ты не верблюд, а осел, и стенгазета тебе не под силу!». Во время же оценки работы все нарочито разногласно кричали: «Работу признать хорошей, удовлетворительной, отличной!» и в этом разногласном хоре явно звучала ирония — не к отчитывающемуся, а к самому виду комсомольской работы.

Наибольшую живость в собрание вносили вопросы, связанные с приемом в комсомол новых членов. Я не могу судить, чем руководствовались многие наши учащиеся, пода-

вая заявления о приеме их в комсомол. Но одно бесспорно: для каждого, подавшего такое заявление, отказ в приеме означал большие огорчения, а для некоторых и крушение каких-то больших личных планов. Но мы, сами еще недавно прошедшие через процедуру приема и пережившие при этом тревожные минуты, познав обыденность комсомольской жизни, забывали об этом. Некоторые из нас в дни приема новых членов в комсомол, незаметно для себя, превращались в маленьких тиранов, истязавших вступающего каверзными вопросами. Делали это отнюдь не ради желания поиздеваться над человеком. Скорее от скуки, которую перед этим терпели в течение полутора-двух часов. Но вступающим от этого было не легче. К чести нашей организации, всегда среди нас находились комсомольцы, которые пресекали ретивых «следователей». И вот как раз перепалка между «следователями» и «защитниками» и вносила что-то живое и непосредственное в наши собрания.

Воробьев, организовав школьную ячейку, добившись, что численность комсомольцев в школе достигла плановой цифры, успокоился и никакими особыми комсомольскими заданиями нас не обременял. Он был неплохим товарищем, но страдающим карьеризмом и формализмом. Комсомол, видимо, его интересовал как очередная ступенька вверх.

Комсомольская инициатива снизу отсутствовала полностью и если и проявлялась, то только тогда, когда надо было получить у директора школы двести-триста рублей на устройство очередного школьного вечера или приведения в порядок школьной сцены. Была у нас комсомольская стенгазета, выпускавшаяся очень нерегулярно. Ее никто не читал, зная заранее, что читать в ней нечего. Каждый, кому давалось задание написать заметку в стенгазету, «отбывал номер» и пересказывал статьи из «Комсомольской правды».

Двухгодичное пребывание в школьной комсомольской организации почти совершенно не отразилось на формировании моих взглядов и характера. Мы, комсомольцы-школьники, отличались от наших друзей некомсомольцев, пожалуй, только тем, что последние были свободны от необходимости посещать комсомольские собрания. Мы не пользовались никакими привилегиями. Наше право носить на груди комсомольский значок «КИМ» не было связано ни с какими обязанностями, за исключением своевременной уплаты членских взносов. Даже Борис Петровский видел свои обязанно-

сти секретаря ячейки лишь в наблюдении, чтобы все комсомольцы посещали собрания и платили членские взносы.

Отсутствие «комсомольского энтузиазма» у нас не являлось проявлением каких-либо оппозиционных настроений. Таких настроений не было. Оно скорее объяснялось другим: в жизни школьной комсомольской организации не было ничего, что могло бы воодушевить нас, заставить «гореть». Однако, читая статьи «Комсомольской правды» о героизме комсомольцев на зимовках, на постройке молодежного города Комсомольска-на-Амуре и т. п., мы верили, что существуют комсомольские организации, жизнь которых можно было сравнить с романтической былью комсомольцев периода гражданской войны. Появившаяся тогда книга Н. Островского «Как закалялась сталь» произвела на нас немалое впечатление, хотя мы отнеслись к ней не как к некой художественной инструкции, согласно которой нам, комсомольцам, следовало бы поступать, а как к интересной, местами захватывающей повести о комсомольских делах, отошедших в историю.

Следует отметить интересную психологическую черту, характерную для нас, школьников-комсомольцев. Несмотря на то, что к нашему пребыванию в комсомоле мы относились лишь как к соблюдению определенной формы советского общежития, требовавшей, чтобы хорошие ученики были членами комсомола, мы, однако, весьма щепетильно относились к так называемому «честному комсомольскому слову». Можно было быть совершенно уверенным, что если кто-нибудь из нас, рассказав что-либо, давал «честное комсомольское», то рассказанное соответствовало действительности. Я не знаю случая, чтобы я или мои друзья, давшие «комсомольское слово», нарушили бы его.

Что же касается взаимоотношений школьников-комсомольцев, то они мало чем отличались от взаимоотношений одноклассников, хотя в них не было той близости и непосредственности, какие существовали в классах: общая учеба и общие классные интересы сближали быстрее и прочнее, нежели принадлежность к комсомолу.

Жизнь школьной ячейки протекала без всяких внутренних событий, потрясений и конфликтов. Но однажды, приблизительно в феврале 1936 года, нам пришлось на закрытом комсомольском собрании столкнуться с проблемой, которая произвела на всех нас большое впечатление. На пове-

стку дня собрания был поставлен вопрос об исключении из комсомола одного из наших товарищей, девятиклассника Сомова.

Сомов был инструктором авиамоделизма и планеризма, единственным учеником школы, окончившим минувшим летом курсы планеризма Осоавиахима в Тушино.

Комсорг Воробьев сообщил собранию, что Сомов три дня тому назад арестован органами НКВД. Это сообщение было подобно разорвавшейся бомбе. Воробьев не сказал нам о причине ареста. Вместо этого в течение четверти часа повторял газетные фразы о происках «врагов народа», о диверсантах и фашистских шпионах, о необходимости усилить бдительность.

Мы сидели молча, потупив глаза, и когда Воробьев окончил свое выступление, никто не попросил слова. Тогда, спасая положение, встал Борис Петровский и, заикаясь, смущенный и красный от волнения, а может быть и от стыда за самого себя, предложил собранию принять решение об исключении Сомова из комсомола. Воробьев поставил предложение Петровского на голосование. «Кто за?» — спросил он. Не смотря друг на друга, мы подняли руки. «Кто против?» — этот вопрос Воробьев задал лишь для соблюдения формы, уверенный, что против исключения «врага народа» голосовать никто не будет. И вдруг, наперекор привычному и обычному, поднялась одинокая рука. — «Я против!..»

Это сказал Саша Владелец, отличник, школьный поэт, близорукий паренек, сын профессора одного из московских институтов. Для нас это была вторая, еще более неожиданная «бомба»...

— Я не могу, я не имею права голосовать за исключение товарища, преступление которого мне неизвестно, — просто сказал Владелец, поднявшись со стула.

— Так тебе недостаточно того факта, что Сомов арестован? Может быть ты хочешь сказать, что НКВД зря арестовывает? — спросил растерявшийся Воробьев.

— Нет, я этого не говорю, — ответил спокойно Владелец, — но я хорошо знаю Сомова и склонен считать, что он арестован по ошибке. Во всяком случае, мы не имеем права так скоропалительно решать вопрос об исключении нашего товарища. Мы должны добиться от НКВД, чтобы нам были представлены доказательства преступления Сомова.

Это было верхом возможного. У меня даже мелькнула

мысль, что Владелец сошел с ума. Воробьев заявил угрожающим тоном, что с Владейцем он будет говорить «отдельно и в другом месте» и закрыл собрание.

Если обычно после комсомольских собраний мы расходились по домам группами, то на этот раз каждый старался как можно скорее очутиться в одиночестве, освободиться от общества товарищей. Всю дорогу домой и дома до поздней ночи я думал о случившемся. Я не верил, что Сомов совершил какое-то преступление (какое политическое преступление мог совершить шестнадцатилетний школьник!), и мои мысли концентрировались не на поисках причины ареста товарища, а на определении рамок моего отношения к событию, на нахождении оправдания нашего общего и моего личного поведения на собрании, где мы голосовали за исключение товарища-комсомольца из рядов организации, не зная по существу, за что он исключается.

Несмотря на все усилия, никакого оправдания своему поведению я не находил. В то же время было больно сознавать, что поступить иначе я не мог. Мне казалось, что если поступил иначе Владелец, то его поступок своим безрассудством только подчеркивал, что все остальные поступили разумно. Тогда у меня впервые вступили в конфликт совесть и разум.

Через неделю Сомов явился в школу. Оказалось, что он был арестован на вокзале, когда собирался купить билет для поездки в Тушино. Его сходство с кем-то и осовахиновская форма военного образца под обычным пальто привлекли внимание агента вокзального НКВД.

Сомов без хлопот добился решения бюро райкома об отмене постановления первичной организации. Владелец из чудака-поэта поднялся в наших глазах до героя-рыцаря, авторитет же Воробьева значительно пошатнулся. Случай, происшедший несколько позднее описанного выше «дела Сомова», окончательно подорвал доверие комсомольцев моего класса к комсору Воробьеву. Произошло это следующим образом.

Однажды, скучая на уроке черчения, мы с приятелем надумали «издать» сатирический классный листок, которому дали название «Шило в бок». К концу урока листок был готов. По окончании занятий приятель взобрался на парту и вслух прочел наше общее произведение, после чего «газета» пошла по рукам. Тут же решили всем классом продолжать выпуск листка и в течение нескольких месяцев, при актив-

ной поддержке друзей, листок аккуратно появлялся в классе. В нем с беспощадностью молодости мы критиковали все и вся, хотя и остерегались касаться политических тем. Мы сознавали, что выпуск печатного органа без ведома школьной администрации и комсорга ЦК ВЛКСМ является делом по меньшей мере предосудительным и поэтому строго хранили тайну о листке. Даже Борис Петровский, наш секретарь, делал вид, что он ничего не знает.

Однако, юношеское желание похвастаться привело к тому, что однажды после комсомольского собрания мы рассказали ему и Воробьеву о нашей «газете». Нам казалось, что Воробьев все же «свой парень» и ему можно доверяться в пустяках. Прочитав последний номер «Шила в бок» и насмеявшись вволю, Воробьев попросил его у нас, чтобы показать своим приятелям. Не предвидя ничего плохого, мы удовлетворили его просьбу.

Через несколько дней было созвано внеочередное комсомольское собрание. На повестке дня стоял вопрос о разлагающих влияниях в 9-м классе «А», выражающихся в отходе учащихся-комсомольцев от актуальных проблем в быт и мечтанство. Воробьев разнес «в пух и прах» наш листок, назвав его «опасным явлением, отвлекающим внимание комсомольцев от великих проблем построения социализма, тянущим их в вонючее болото обывательщины». Чувствовалось, что Воробьев повторял чьи-то чужие слова и говорил не то, что думал сам. Так оно и было. Как потом выяснилось, в ЦК ВЛКСМ, где Воробьев пытался похвастаться нашей инициативой, ему задали внушительную головомойку «за притупление политической бдительности» и теперь, стараясь исправить допущенную ошибку, он обрушился на нас.

К нашему счастью, дело окончилось лишь «разносом» и «постановкой на вид» без занесения в личное дело (самое легкое взыскание в комсомоле). На областной конференции комсомола Салтанов в свое речи упомянул о нашей газете, даже процитировал несколько строк из нее и заклеил такого рода «инициативу снизу», как проявление «махровой обывательщины». Для меня случай с «Шилом в бок» послужил самым серьезным предупреждением не делать ничего, не обдумав всех возможных последствий начинания.

В девятом классе на общем ученическом собрании я был избран председателем старостата. На собрание снова явился Салтанов. Это было третье его посещение нашей школы.

(Второй раз он присутствовал на одном из комсомольских собраний, на котором меня не было). К этому времени мое отношение к Салтанову изменилось. Я не видел в нем больше «вождя». Он превратился для меня в простого смертного, не весьма важного человека. Я разговаривал с ним теперь так же просто, как с Воробьевым, лишь чутьчку напряженнее обдумывал высказываемые мысли. Сам же Салтанов вел себя с нами просто, стараясь убедить нас, что он лишь «старший товарищ», не больше.

В период моего пребывания в средней школе, а следовательно и в школьной комсомольской организации, то есть до весны 1937 года, в стране происходили большие потрясения. Центральное место среди событий занимали процессы над «врагами народа», на которых подсудимыми были люди, занимавшие еще совсем недавно высшие посты в советском правительстве и в партии. К процессам у нас было двоякое отношение: официальное, выражавшееся в проведении общеученических митингов и специальных комсомольских собраний с принятием соответствующих резолюций, клеймящих «врагов народа», и неофициальное — то, что каждый чувствовал и думал.

Очевидно, мои чувства ничем не отличались от чувств моих соучеников и товарищей-комсомольцев. Чувствовал же я смятение, неуверенность, раздвоенность и сомнение. Мне не верилось, что люди, о делах и подвигах которых еще вчера слагались песни, сегодня превратились в заядлых врагов коммунистической системы, преступников и убийц. Я внимательно следил по газетам за ходом судебных разбирательств и не мог понять, что заставляло таких людей, как Бухарин, Зиновьев, Пятаков и другие признаваться в преступлениях и говорить о них таким тоном, каким говорить мог не подсудимый, а обвинитель. В частных беседах мы процессов не касались. Повторять то, что писалось в газетах, не имело смысла. Дискутировать же с целью нахождения логического объяснения происходящему мы боялись: дискуссии могут завести нас в такие политические дебри, из которых будет трудно выбраться. Между прочим, в разгар кампании по разоблачению «врагов народа», весной 1936 года застрелился мой дядя Мороз.

После отъезда матери в Сибирь я довольно часто бывал в семье дяди. Когда дядя бывал дома, я, как взрослый, рассуждал с ним на различные темы, чаще всего слушал его

воспоминания из времен гражданской войны. Порой казалось, что он сознательно удалялся от действительности в воспоминания о прошлом. Однажды он заговорил о моем отце, отозвался о нем, как об умном человеке, сказал, что мой отец, вероятно арестован «по ошибке». Мне он советовал об этом много не думать, ибо у меня все впереди.

И вот однажды ночью грохнул выстрел... Записка, найденная на письменном столе дяди, была уничтожена теткой и только позднее я узнал от бабушки ее содержание. Мороз писал, что его вера в коммунизм растоптана Сталиным и что его самоубийство избавит семью от преследований, которым подвергались семьи его друзей по партии, объявленных «врагами народа».

На меня самоубийство дяди произвело самое тяжелое впечатление. И не только потому, что факт самоубийства родственника сам по себе действует удручающе. Добровольный уход из жизни человека, который был для меня примером стойкого, непоколебимого ленинца, идейного коммуниста, лишний раз подтверждал, что в происходящем есть какая-то страшная фальш. Самоубийство Мороза толкнуло меня на мучительные и продолжительные размышления о смысле происходящего вокруг меня, о моем отношении к этому происходящему. Вновь ожили впечатления от знакомства с Бутырской тюрьмой, с Мариинским лагерем. Впервые в своей жизни, сознательный период которой, по существу, только начинался, у меня возник вопрос: сам я «за» или «против» той политической системы, которая царит на моей родине? Мой жизненный опыт был еще мал и узок, чтобы я мог со всей бескомпромиссностью ответить на поставленный вопрос. Но, перебрав в памяти все пережитое, прочувствованное и виденное мною, я осознал остро и глубоко, что система, или вернее то, во что она превратилась в последние годы, — несправедлива. Эту несправедливость системы лишь очень смутно и неубедительно оправдывали в моем сознании воспетые пропагандой дали социализма, к которым партия обещала привести страну и народ. Очевидно, вера, колебавшаяся, потерявшая былую непосредственность, в какой-то мере была еще жива.

Самый страшный удар по этой еще теплившейся вере был нанесен никем другим, как самим Сталиным, его докладом на 7 съезде Советов, в котором он объявил социализм в СССР в основном построенным. Действительность, в которой

я жил, я никак не мог признать действительностью осуществленного социалистического общества, ибо она противоречила всем моим представлениям о социализме, которые постепенно создавались в моем сознании в ходе изучения и освоения теоретических положений коммунистического учения.



В десятом классе мы в комсомольской организации занимались тем же, чем и в предыдущем году — регулярно посещали собрания. Воробьев сделал попытку организовать комсомольские кружки по изучению истории партии и конституции СССР, то есть кружки, которые, как грибы, вырастали во всех производственных комсомольских организациях. Но нам удалось доказать абсурдность такого начинания в школе, где в программу всех старших классов входят история партии и изучение конституции.

Перед выпускными экзаменами, весной 1937 года, комсомольцы были вызваны в райком, где нам сообщили, что все комсомольцы-юноши, повинувшись комсомольской дисциплине, обязаны по «комсомольскому набору», окончив десятилетки, поступить в военно-морские или военно-воздушные училища.

Каждый из нас, окончив десятилетку, мечтал о получении высшего образования, и перспектива стать военным на всю жизнь никому из нас не улыбалась. Но делать было нечего. Пришлось отправляться сначала на районные, потом на городские, а затем на областные мандатные и медицинские комиссии. Районные и городские комиссии забраковали девяносто процентов кандидатов в военные училища, чему последние были очень рады и не скрывали своей радости. Надо сказать, что подавляющее большинство призываемых «по комсомольскому набору» симулировало на медицинских комиссиях, как только могло: жаловались на придуманные болезни, заполняя анкеты, придумывали наследственные болезни; многим удавалось симулировать близорукость или частичную глухоту. Я же симулировать не пытался и к глубочайшему огорчению был признан медицинскими комиссиями годным к службе в частях военно-воздушных сил.

В конце августа меня вызвали на заседание мандатной комиссии. Члены комиссии, в которую входил один из секретарей МК ВЛКСМ, задали мне ряд весьма каверзных вопросов, касавшихся прошлого моих родителей, а самое главное, недавнего их прошлого. После получасового опроса, на котором я продержался удивительно стойко, меня отпустили. А через два дня я был вызван в секретариат областной комиссии, где мне без объяснения причин были возвращены мои документы.

Из-за истории с «комсомольским набором» я упустил возможность поступить в институт и оказался на положении человека, выбитого из колеи. Тогда, посоветовавшись с родственниками, я принял решение уехать в Сибирь, чтобы устроиться там на какую-нибудь работу и помочь матери, а уже на следующий год вернуться в Москву и поступить учиться в институт. Я поехал в Барнаул, где явился в отдел народного образования Алтайского края и заявил, что приехал из Москвы, желая познакомиться с жизнью родной страны и принять активное участие в строительстве социализма на периферии. Меня приняли очень любезно и назначили учителем неполной средней школы в Славгороде. Так, едва достигнув восемнадцати лет, без всякой специальной подготовки, я стал учителем.

Вскоре я свыкся со своим новым положением, меня даже стали считать в РОНО одним из лучших преподавателей района. Этому обстоятельству удивляться не следует: после арестов 1934-37 гг. положение с преподавательским персоналом в Сибири было поистине катастрофическим.

Уезжая из Москвы, я не позаботился о снятии с комсомольского учета. Пришлось писать в Москву и просить выслать личное дело на адрес Славгородского райкома комсомола. Личное дело прибыло. При взятии на учет я познакомился с секретарем райкома Бобровым, заинтересовавшимся странным москвичем, променявшим столицу на жизнь в провинциальной глуши.

От этого знакомства у меня осталось не особенно приятное впечатление. Бобров принадлежал к категории людей, часто встречаемых во всех партийных и комсомольских учреждениях. Это был бесцветный человек, сделавший быструю карьеру, которая ему, молодому парню с образованием фабрично-заводского провинциального училища, видимо, вскружила голову. Он чувствовал себя «вождем» районного мас-

штаба, что подчеркивалось им не только в пренебрежительном отношении ко «всем прочим смертным», но и в одежде, сшитой по образцу одежды «вождей» краевого и даже союзного масштаба. Ни врожденными умственными способностями, ни образованием, ни практическими знаниями Бобров не обладал и, как большинство комсомольских и партийных деятелей этого типа, прикрывал свою примитивность знанием «на зубок» необходимого количества цитат из речей Сталина и умением на все лады, к месту и не к месту, говорить истины, вычитанные им из центральных газет. Бобров спросил меня о причине, побудившей меня покинуть Москву и уехать в Славгород. В его вопросе улавливалось неподдельное удивление явной нелогичностью такого поступка. В ответ я разразился коммунистически выдержанной, крепко идеологически обоснованной тирадой, в которой блеснул своим достаточно глубоким знанием и «правильным пониманием» генеральной линии партии. Мое пятиминутное излияние, в котором я не скупился на выражения вроде «священный долг перед советской родиной и партией», произвело ошеломляющее впечатление на Боброва. Мои слова убедили его в том, что в моем лице он имеет дело или с жертвенным и преданным партии и комсомолу человеком или же с «идиотом-идеалистом», с которым надо держать ухо востро.

Уходя от Боброва, я не мог побороть чувства гадливости к самому себе и успокоился лишь, убедив себя, что «двурушничество», к которому мне пришлось прибегнуть, является только средством самозащиты в жизненной борьбе за существование. Излишне говорить, что высокопарные слова, сказанные мною Боброву, ничего общего не имели с моим истинным настроением.

Впоследствии я встречался с Бобровым очень редко, и никаких личных взаимоотношений между нами не было. В конце зимы он вместе с рядом руководящих районных партийных и комсомольских работников был арестован и объявлен «врагом народа».

Несколько сложнее оказалась для меня обстановка в первичной комсомольской организации.

Школьная организация состояла из нескольких учеников-комсомольцев и учителей. Последних было большинство. Из восемнадцати учителей школы четырнадцать являлись членами или кандидатами ВЛКСМ. Секретарем организации

был Яков Цахарияс, немец из соседнего Немецкого района Алтайского края. Он окончил в Барнауле педагогическое училище и преподавал математику. Это был хитрый и осторожный карьерист, один из немногих немцев-мужчин названного района, не попавших в концентрационный лагерь.

Издавека и очень осторожно Цахарияс принялся изучать меня. Громким фразам, которыми мне удалось «оглушить» Боброва, он видимо не верил и при каждом удобном случае пытался неожиданными вопросами или репликой захватить меня врасплох и вывести «на чистую воду». Порочащих меня материалов или биографических данных у него не было. Поэтому он конкретно против меня ничего не предпринимал, ограничиваясь лишь построением догадок, которые, вероятно, были недалеко от истины. Однако, не будучи уверенным в правильности своих догадок, он не рисковал открыто выступить против меня, («А вдруг он специально послан в Славгород из Москвы!»), но готов был использовать любой удобный случай, чтобы поставить меня в неловкое положение. Между Цахариясом и мной началась скрытая борьба, в которой я прилагал все усилия, чтобы не сорваться со взятого тона. Борьба эта, несмотря на ее скрытность, была замечена другими комсомольцами, которые, хотя и не любили Цахарияса, старались не вступать со мной в сличком близкие, приятельские отношения, к чему я со своей стороны тоже не стремился. Не знаю, чем бы кончилась эта борьба, если бы Цахарияса не перевели из нашей школы в сельскую семилетку, где он заменил арестованного директора.

Деятельность комсомольской ячейки в Славгороде не ограничивалась одними собраниями, как это было в Москве. Все комсомольцы обязаны были выполнять «общественные нагрузки», а также участвовать в работе кружков по изучению истории ВКП(б) и конституции. Общественные нагрузки были различного характера, но одной из основных была работа агитатора. За комсомольцем-агитатором закреплялся определенный участок, чаще всего одна-две улицы, на котором он был обязан планомерно проводить агитационную работу по разъяснению политического смысла очередных партийных кампаний.

Перед выборами в Верховный Совет СССР нам, комсомольцам-агитаторам, пришлось проводить все свои свободные вечера на агитационных участках и разъяснять «Положение о выборах в Верховный Совет». Это была очень скучная и

неприятная обязанность. Пришлось ходить из дома в дом и надоедать измученным дневной работой людям. К этой своей нагрузке я относился очень безразлично и всю агитационную работу сводил к чтению вслух «Положения». Бесед не проводил, ибо устал от бесконечного повторения одних и тех же казенных фраз и замечал, что мои слушатели относятся ко мне с плохо скрываемым недружелюбием и терпят меня, как необходимое, неизбежное зло.

В период предвыборной кампании мне было оказано «высокое доверие»: я был назначен одним из ораторов предвыборного собрания, на котором выставлялись кандидатуры в депутаты Верховного Совета. Перед собранием я был вызван в райком партии, где заведующий отделом пропаганды и агитации собрал человек 12–15 учителей, служащих и рабочих местных предприятий. Этим людям райком доверил играть роль ораторов «из массы избирателей» на предстоящем предвыборном собрании. Каждый из нас получил задание выступить с предложением выдвинуть в кандидаты того или иного человека. Из выставляемых кандидатов только один был местным жителем, все же остальные — вожди партии и правительства во главе со Сталиным. На мою долю досталось предложить собранию кандидатуру В. М. Молотова. Перед выступлением я волновался. Волнение это имело мало общего с волнением человека, впервые выступающего перед аудиторией в несколько сотен человек. Нет, это было волнение человека, чувствовавшего, что он принимает участие в фальшивой игре, отказаться от которой он не имеет ни малейшей возможности.

Тогда я довольно часто стал задумываться над своим будущим, а думая о нем, вспоминал недавнее прошлое. В результате таких размышлений я пришел к заключению, что комсомольский билет, кроме хлопот, неприятностей и состояния перманентной опасности, ничего мне не дал и вероятно не даст. Начавшая намечаться в Славгороде тенденция выдвигать меня вперед, объяснявшаяся тем, что я был гораздо развитее и политически грамотнее большинства местных комсомольцев, не на шутку пугала меня. Я прекрасно знал, что мое даже не очень большое политическое возвышение должно привести к неминуемому падению, связанному с разоблачением, что в условиях царившей «шпиономании» и вскрытия бесчисленных «врагов народа» могло при-

вести не только к исключению из комсомола, но даже к аресту.

За время моего пребывания в Славгороде отношение мое к происходящему продолжало меняться в направлении отхода от веры в правильность того пути, по которому шла страна. Если в Москве, под влиянием виденного, слышанного и пережитого, моя вера в коммунизм сильно пошатнулась, то здесь, в Славгороде, место сомнений заняло убеждение, что все, что происходит вокруг меня, в чем я сам вынужденно принимаю участие, не соответствует ни моим убеждениям, ни моим желаниям. Если в Москве «построенный социализм» ошеломил меня, то тут, в Сибири, я ужаснулся, видя противоречия между теорией и практикой коммунизма. Тут в Сибири укрепилось мое убеждение в глубокой несправедливости системы, и я пошел даже дальше: я стал сомневаться не только в возможности построения коммунистического общества при помощи применявшихся методов, но даже и в основах коммунистического учения.

Самым удручающим образом действовало на меня бедственное положение простого народа. Вспоминается один эпизод, характеризующий «благополучие» советского населения. Проходя мимо магазина «Госиздата», я был удивлен огромной очередью колхозниц, стоявших у входа в магазин. Мое удивление усилилось, когда я обнаружил, что колхозницы покупают пачками географические карты, по какой-то случайности прибывшие в большом количестве в Славгород. Мое удивление сменилось горькой обидой за наш народ, когда я узнал, что эти карты раскупаются из-за тонкого коленкора, на который они наклеены: коленкор употребляли на шитье рубах.

(Между прочим, в своих докладах для западной общественности я неоднократно указывал на этот факт, но, к сожалению, он превращен на Западе в антисоветский анекдот).



Приближалась весна 1938 года. Я подал заявление об увольнении, основывая свою просьбу желанием продолжать образование. Перед концом учебного года стал усиленно заниматься подготовкой к приемным испытаниям в институт.

Очень часто задумывался над тем, каким образом мог бы безболезненно, не подвергая себя никакой опасности, освободиться от комсомольского билета. Совершенно случайно такая возможность была мне подсказана.

Кто-то из моих знакомых-комсомольцев в разговоре рассказал, что его друга, несколько месяцев тому назад исключенного за неуплату членских взносов из комсомола, вновь приняли в организацию. У меня мгновенно родилась идея: «автоматически» выбыть из комсомола за неуплату членских взносов — самый удобный и верный способ освободиться от опасностей, связанных с пребыванием в комсомоле. Приняв решение, я стал уклоняться от уплаты членских взносов, хотя и не легко было изображать причины «безденежья».

Кончился учебный год. Комсомольские собрания во время каникул не собирались, и мне удалось в конце лета, не уплатив членских взносов и не снявшись с комсомольского учета, уехать в Москву для поступления в институт. Приемные испытания я выдержал успешно, и с 1-го сентября был уже студентом Московского инженерно-экономического института имени Серго Орджоникидзе.

Секретарю институтской организации я заявил, что выбыл из комсомола из-за неуплаты членских взносов. Секретарь возразил, что причина выбытия пустяковая и что я должен восстановиться в правах комсомольца, для чего мне следует лишь подать соответствующее заявление. Зимой, после третьего или четвертого напоминания секретаря, я заявил ему, что принял решение готовиться ко вступлению в партию и поэтому восстанавливаться в комсомоле не имеет смысла. Конечно, я и не помышлял о вступлении в партию, но это было наиболее логичное объяснение того пололжения, в котором я оказался.

Так закончилось мое трехгодичное пребывание в комсомоле. Перестав быть комсомольцем, я почувствовал большое душевное облегчение. Спали невидимые, но остро ощутимые путы, которые не только связывали меня, но и заставляли жить в постоянном страхе.

Дальнейшая моя жизнь сложилась совсем не так, как я этого хотел. Я был призван в армию, окончил краткосрочные курсы среднего комсостава. Лейтенантом попал в Эстонию — тогда еще капиталистическое государство, — где, согласно договору, были размещены советские гарнизоны. До начала

войны с Германией познакомился с заграничной жизнью, которая поставила недостающие точки над «и» в моих убеждениях. С первых дней войны я был на фронте и в середине 1942 года попал в плен, где, несмотря на нечеловеческие условия, все же выжил.

В 1943 году вступил в ряды Русской Освободительной Армии. Не для того, чтобы спасти свою жизнь — к тому времени условия моего существования в плену несколько улучшились, — а по глубокому убеждению, что долг каждого человека бороться с коммунизмом, пусть даже в союзе с чертом...

Н. МЕЛЬНИКОВ

Дорога в «большую жизнь»

1. Я вступаю в комсомол

У нас была большая семья. Отец работал на текстильном комбинате, зарабатывал немного; мать всегда была озабочена: чем кормить детей и как одеть их.

Я учился в ленинградской средней школе, на Чернышевском переулке. Как и все ученики, начиная с 4-го класса, состоял в пионерской организации (работа ее заключалась в том, что нас водили в ТЮЗ — ленинградский Театр Юного Зрителя, в городской дворец пионеров, где демонстрировали кинофильмы и устраивали встречи с знатными людьми). Я мечтал окончить десять классов, поступить в горный институт и стать геологом-разведчиком. Однако этой мечте не суждено было осуществиться. Летом 1937 года, когда я окончил семь классов, отец сказал мне:

— Тебе уже шестнадцать лет. . . Знаю, что учишься ты неплохо. Но я больше не могу. . . Видишь сам: еле концы с концами сводим. Придется тебе идти работать. Свыкнешься с работой, поступишь куда-нибудь на вечерний факультет. Учеба не убежит. А нам жить надо. . .

Я отправился на Петроградскую сторону, где находилась биржа труда. У биржи были выставлены щиты с объявлениями о требующейся рабочей силе. В самом здании один из служащих, просмотрев мои документы, сказал:

— Советую обратиться на Механический завод, на Выборгской стороне. ФЗУ этого завода — одно из лучших в го-

роде. После трехлетнего обучения оно выпускает квалифицированных слесарей-механиков и токарей-универсалов. Будешь хорошо учиться, а потом работать — смотришь, и до мастера, а то и до начальника цеха дорастешь.

...Процедура приема в ФЗУ длилась недели две. Сначала нужно было пройти медицинский осмотр, сдать экзамен по общеобразовательным предметам и заполнить длинную анкету. На большую часть вопросов этой анкеты я не смог ответить без помощи отца. В ней спрашивалось, чем занимались мои родители до революции, есть ли в семье репрессированные, имеются ли связи с границей и т. д. Отец был потомственным рабочим, и поэтому я вскоре получил открытку из отдела кадров завода, что с 1 августа 1937 года могу приступить к занятиям.

В ФЗУ Механического завода было набрано около двухсот человек. В основном это были подростки из рабочих семей, дети мелких служащих и колхозников Ленинградской области — иными словами, выходцы из слабообеспеченного слоя советского общества.

Занятия начались общим собранием учащихся, на котором нам представили директора ФЗУ. После него с длинной речью выступил его заместитель по политчасти, он же инструктор по культурно-массовой работе завода, Михаил Шейкин — подвижной молодой парень, еврей. Он много говорил о задачах молодежи в деле построения социализма, о железной производственной дисциплине, о нашем долге еще выше поднять славу ФЗУ Механического завода Выборгской стороны.

Так началась моя трудовая жизнь. Я облачился в длинный синий халат, который вскоре пропитался маслом и керосином. Стараясь как можно быстрее стать помощником своему отцу, я учился и работал прилежно.

С первого же дня нашей учебы Михаил Шейкин старался познакомиться с каждым из нас. В свободное время он беседовал с нами, расспрашивал о семье, о наших наклонностях, о наших планах на будущее. Чтобы разнообразить наш досуг, он иногда организовывал для нас специальные концерты в заводском клубе, водил нас бесплатно на каток, на лыжные станции. С его помощью в самом ФЗУ были организованы различные кружки: драматический, литературный, шахматный. Мы узнали, что на пост заместителя директора ФЗУ Шейкин был прислан в горкомом комсомола.

Из числа наиболее успевавших и инициативных ребят Шейкин стал сколачивать так называемый актив ФЗУ, то есть группу, которая должна была задавать тон в коллективе учащихся. Он старался выделить членов этого актива в глазах остальных, время от времени давая им бесплатно билеты в театр, получал для них через завком путевки в однодневные дома отдыха, расположенные в живописных местах под Ленинградом. При этом он не забывал упомянуть, что партия и комсомол дают нам возможность быть всесторонне развитыми тружениками, заботятся о нашем здоровье, и мы должны ценить и оправдывать эту заботу. Это была подготовительная работа с целью вовлечения «фабзайчат» в ряды ВЛКСМ. Шейкин вел ее незаметно, но планомерно. Вот как было, например, со мной.

До своего поступления на завод я почти не имел представления о комсомоле. В школе у нас комсомольской организации не было. На пионерских сборах о комсомоле нам ничего не рассказывали. Правда, мне приходилось кое-что читать о подвигах комсомольцев в годы гражданской войны. Видел я также отдельные фильмы об участии комсомольцев в строительстве города Комсомольска-на-Амуре и об их борьбе с вредителями на производстве. Из всего этого я мог сделать лишь общее заключение, что комсомол играет какую-то роль в жизни советского общества. Однако, что представлял собою комсомол, как он организован, из чего складывается его работа, кого он объединяет в своих рядах — я не знал.

На заводе я непосредственно оказался в сфере влияния комсомола на молодежь. Комсомольские работники, как Шейкин и другие члены заводского комитета ВЛКСМ, заметив мое добросовестное отношение к учебе, стали усиленно втягивать меня в общественную работу завода. Узнав, что я пишу стихи, они предложили мне отнести их в заводскую многотиражку «Металлист» и устроили так, что стихи сразу же были напечатаны. После этого на меня стали обращать внимание мои соученики и особенно девушки, учившиеся, как и ребята, на слесарей и токарей. Подчеркивая свою симпатию ко мне, они шутили стали называть меня поэтом. Это наполняло мое сердце приятным чувством. Я стал принимать более активное участие в работе многотиражки. Тогда Шейкин предложил мне возглавить кружок молодых писателей-рабочих, на что я охотно дал свое согласие.

Так, незаметно для себя, я стал активистом-общественни-

ком. А комсомол продолжал выдвигать меня вперед. Шейкин добился того, что время от времени, по поручению редакции многотиражки, я стал ездить на просмотры новых кинофильмов до их выхода на экран и писать о них рецензии. В ленинградском Доме кино, где демонстрировались эти фильмы, у меня появились знакомые среди администрации. Там я встречался с известными артистами советского кино. Не каждому давалось это. У меня появилось чувство собственного достоинства и превосходства перед своими товарищами. Всем этим я волей-неволей был обязан комсомолу. Поэтому у меня постепенно выработалось сознание, что комсомол открывает молодежи дорогу в «большую жизнь». Это влекло к комсомолу. Но у меня не хватало решимости подать заявление о приеме в комсомол: боялся отказа.

И вот однажды, — кажется, это было в январе 1938 года, — Шейкин вызвал меня к себе в кабинет.

— Ну, Николай, я должен тебя поздравить, — начал он, улыбаясь, — дирекция ФЗУ очень довольна, что ты пришел в стены нашего училища. Парень ты со смекалкой, дисциплину любишь, учишься хорошо, активно участвуешь в общественной жизни завода. Такие ребята нужны Ленинскому комсомолу — многомиллионной организации юношей и девушек, помогающих партии строить социализм в нашей стране. Скажи честно, каковы у тебя виды на этот счет?

Я растерялся, покраснел, не зная как себя вести. Шейкин это заметил:

— Народ вы еще молодой, стеснительный. Но комсомол это понимает. Он поможет вам найти правильную дорогу в жизнь. Надо всегда помнить, что один человек — в поле не воин. Ему трудно преодолевать все трудности. А комсомол — это огромная сила, помогающая молодежи стать хозяевами страны. Вот, возьми программу и устав ВЛКСМ, прочти внимательно, обдумай, а дня через два-три скажешь мне свой ответ.

В этот же день я узнал, что Шейкин вел подобные разговоры с моими друзьями по учебе. Все мы согласились стать комсомольцами.

Со дня подачи заявления Шейкин стал готовить нас к политическому экзамену, который обычно проводится при приеме в комсомол. Эта подготовка заключалась в том, что он заставил нас вы зубрить наизусть фамилии членов Политбюро ЦК ВКП(б), внимательно «проштудировать» Конститу-

цию и хорошо разобраться в основных положениях Устава и Программы ВЛКСМ.

Приемную процедуру на заседании заводского комитета комсомола и на общезаводском комсомольском собрании я прошел «без сучка и задоринки». Здесь задавались как раз те вопросы, к которым нас заранее подготовил Шейкин. Однако на заседании бюро райкома комсомола я чуть было не «провалился». Здесь была совершенно официальная атмосфера. Члены бюро выглядели «начинающими партийными работниками». Многие из них были в полувоенной форме, посматривали на нас строго, даже немного надменно. Вопросы здесь задавались тоже более серьезные.

Секретарь райкома Миронов, сухопарый парень лет двадцати восьми, спросил меня:

— Скажите, товарищ Мельников, ВЛКСМ — партийная или беспартийная организация?

Я попытался ответить словами Устава. Ответ прозвучал приблизительно так: «Комсомол — это массовая, политическая, беспартийная организация молодежи, являющаяся помощником и резервом ВКП(б)».

— Это верно, а почему она беспартийная? — снова спросил Миронов.

Я страшно смутился и не знал, что ответить: Шейкин никогда не говорил об этом, а фантазировать было слишком опасно.

Секретарь райкома провел рукой по своей прическе и, выделяя каждое слово, менторским тоном произнес:

— Комсомол потому беспартийная организация, что в нашей стране незачем иметь несколько партий. ВКП(б) борется за интересы всего нашего народа — рабочих, крестьян и интеллигенции, старшего поколения и молодежи. Понятно?

Я утвердительно кивнул головой.

— Таким образом, — продолжал Миронов, обращаясь к членам бюро, — я считаю, что товарища Мельникова можно принять в наши ряды. Однако ему нужно будет упорно работать над повышением своих политических знаний. Кто «за», прошу поднять руки.

В заключение Миронов поздравил нас с приемом в ВЛКСМ и дал нам наказ на будущее. Он сводился к тому, что мы всегда должны быть готовы выполнить любое задание партии и правительства и быть передовиками на любом участке социалистического строительства.

2. Цена комсомольского билета

С получением комсомольского билета советский молодой человек приобретает ряд привилегий. Он, по сравнению с другими товарищами по работе, учебе, службе в армии, теперь имеет больше шансов на лучшее положение, на отдых и на помощь со стороны государства. Но вместе с тем он может теперь дорого заплатить за эти привилегии и льготы. Он может заплатить своей жизнью, ибо, получая комсомольский билет, он одновременно вручает свою жизнь в распоряжение коммунистической партии и ее помощника — ВЛКСМ. Ни один из комсомольцев не может быть гарантирован от того, что в один прекрасный день его вызовут в комсомольский комитет и пошлют на смертельно опасное дело или на такую работу и в такие места, куда, как говорят в народе, «Макар телят не гонял...»

И в этом разделе я хочу на ряде примеров показать, как это делалось.

В 1938 году из нашей заводской организации были неожиданно вызваны в городской комитет комсомола десять особенно крепких ребят. Все они больше не вернулись на завод и куда девались — никто не знал. Прошло несколько месяцев. Однажды, идя по Литейному мосту, я увидел крепкого сытого парня в новой форме лейтенанта госбезопасности. Когда мы поровнялись, я не мог скрыть своего удивления.

— Кузнецов, Саша!

— Николай! — в свою очередь удивился лейтенант, он был одним из десяти исчезнувших. — Вот не ожидал. Рассказывай! Как завод, что с ребятами?

Оглядывая с ног до головы своего бывшего товарища, я рассказал ему о всех новостях на заводе: о том, что построено два новых цеха; что инженера Окуня, члена партии, арестовали и, вероятно, расстреляли, ибо на заводском партийном собрании он был назван «врагом народа». Я также пожаловался, что, став членом цехового бюро комсомола, потерял остатки своего личного времени: частые заседания бюро, организация стахановских школ и соцсоревнования, доска почета — все это вынуждает почти ежедневно засиживаться на заводе до поздней ночи. В свою очередь я стал спрашивать Кузнецова об его работе. Но недавний друг неохотно отвечал на мои вопросы.

— Работаю вон там, в большом доме, — сказал он, и я по-

нял: в управлении ленинградского НКВД. — Материально обеспечен вот так, — он провел кистью руки по своему горлу. — Но работа тяжелая. Мало сна. Работаем, в основном, ночью. К примеру, сегодня еще не смыкал глаз. Дважды посылали на выполнение оперативного задания. А это вот — орудие труда, — Кузнецов вынул из кармана шинели маленький браунинг и снова его спрятал. — Отсюда, сам понимаешь, что это все ужасно треплет нервы.

... Не менее характерен случай с комсомолкой Верой Назаровой. Она по комсомольской путевке была прислана из колхоза Вологодской области в Ленинград. Была крепкая, здоровая деревенская девушка. Ее определили станочницей в цех предварительной обработки деталей нашего завода. Работа была несложной, но очень тяжелой. Каждая деталь весила до двадцати килограммов. За смену нужно было обработать до четырехсот таких деталей. Девушку зачислили в стахановскую школу стахановца Виктора Савина, великана-парня, который обрабатывал до тысячи деталей в день и работал на двух станках. Обучение в стахановской школе ограничилось тем, что Савин показал ей, как закрепляется деталь в патроне станка, как переводится суппорт и пускается станок в действие. После этого Савин сказал:

— Секрет остального заключается в том, что не надо делать лишних движений, не разговаривать с соседями, а гнать и гнать вперед.

Девушка быстро освоилась с работой, так как сама отлично понимала, что ничего научного в опыте Савина нет, а нужны только расторопность и сила. Уже к концу первого месяца она стала обтачивать за день по шестьсот деталей. В заводской газете написали, что стахановец Савин «успешно передал свой опыт комсомолке Назаровой, которая теперь выполняет норму на 150 процентов». Ее портрет появился на заводской доске почета. Ей дали отдельную комнату в общежитии и постоянный билет в театр. Заводская газета всячески ее подбадривала, указывая, что и тысяча деталей в день для комсомолки Назаровой — не предел. В напряженной работе прошли месяцы. Назарова стала выполнять норму на 180 процентов. Почти каждый раз, когда устраивались обще-заводские собрания рабочих и собрания комсомольцев, ее хвалили и выбирали в президиум.

Но силы деревенской девушки, не привыкшей к тяжелому воздуху цеха и плохому, малокалорийному питанию, стали

иссякать. Ее выработка стала падать. Заводской комитет комсомола потребовал от цеховой комсомольской организации, чтобы «дело» Назаровой было немедленно рассмотрено на собрании. Веру подвергли критике. Заранее подготовленные «ораторы» в один голос заявили, что комсомолке не к лицу понижать темпы работы.

Однажды Вера Назарова, обессилев, упала в обморок у станка. В карете скорой помощи ее отправили в заводскую больницу. Оттуда она уехала в свое село, предпочтя кабальный труд колхозницы почетному званию стахановки ленинградского завода. Из комсомола ее исключили за симуляцию и, таким образом, вся жизнь ее была искалечена.

Да и я сам чуть не погиб на Карельском перешейке во время войны с Финляндией, куда попал по комсомольской путевке. Произошло это так. Наш завод был освобожден от мобилизации. Однако, вскоре после начала войны меня вызвал к себе в кабинет секретарь парткома завода. Он посмотрел на меня испытующим взглядом и сказал, что по разверстке горкома партии завод должен послать на партийно-комсомольскую работу в действующую армию группу членов и кандидатов партии, а также нескольких комсомольцев.

— Вы, Мельников, конечно, будете считать за честь показать свою политическую закалку и преданность родине на поле боя? — спросил он.

— Конечно! — ответил я, крепко сжав зубы. — Если партия считает это необходимым, я готов...

Меня зачислили в лыжный отряд комсомольцев, предназначенный для действий в тылу противника. Однажды, при попытке прорвать оборону противника, мы попали под продолжительный пулеметный и минометный огонь и были прикованы к промерзлой земле на несколько часов. Я и еще несколько лыжников обморозили ноги и были эвакуированы в один из ленинградских госпиталей, где я пролежал полтора месяца, так как у меня начиналась гангрена кожи.

К счастью, война вскоре закончилась. Но я всю жизнь не забуду командировки по комсомольской путевке на фронт, из-за которой чуть было не лишился ног.

3. «Товарищи члены пленума райкома...»

Когда я вернулся из госпиталя на завод, в заводской комсомольской организации стали смотреть на меня уже не как

на «зеленого» новичка, а как на зрелого комсомольца, «выполнявшего специальное задание». Вскоре меня выбрали членом заводского комитета комсомола.

Теперь мне часто приходилось присутствовать на цеховых комсомольских собраниях в качестве представителя «высшей» инстанции. На одном из заседаний комитета мне было поручено организовать соревнование цеховых комсомольских организаций за «переходящее красное знамя». Такое задание считалось ответственным, хотя ничего особенного в нем не было. Я собрал совещание секретарей цеховых комсомольских бюро, сообщил им срок начала соревнования и потребовал от них, чтобы они немедленно же провели в цехах соответствующие собрания комсомольцев со взятием повышенных обязательств выполнения производственного плана. Потом я заказал в специальной мастерской (на Загородном проспекте) и само знамя. Оно обошлось заводу в 2600 рублей, но зато за мной стала закрепляться слава хорошего организатора.

Своей комсомольской карьерой я прежде всего был обязан Михаилу Шейкину. Этот беспокойный и неутомимый человек ни на минуту не терял из вида тех комсомольцев, которые отличались расторопностью и сообразительностью. Таких комсомольцев он все время выдвигал вперед, добивался, чтобы им давались наиболее трудные поручения, выполнение которых способствовало повышению их престижа.

Конечно, делал это Шейкин, как говорится, не ради наших прелестных глаз. Каждый «выращенный» им активист или комсомольский работник записывался на его собственный счет. Продвигая нас вверх по комсомольской лестнице, он тем самым увеличивал свой собственный политический вес, ибо завоевывал репутацию опытного воспитателя комсомольских кадров, что особенно ценилось в системе партийно-комсомольской работы. (Между прочим, впоследствии Шейкин действительно выдвинулся на крупную комсомольскую работу. Незадолго до начала войны с Германией он был от нас отозван. Потом я узнал случайно, что в первые дни войны Шейкин был направлен в Краснодар для эвакуации всех ремесленных училищ. Там, в Краснодаре, Шейкин был захвачен немцами и повешен).

Осенью 1940 года я был избран в состав пленума райкома

комсомола. Не обошлось здесь опять-таки без вмешательства Шейкина. Я в этом уверен. И вот почему.

Еще за полтора месяца до начала районной конференции Шейкин предупредил меня, что я буду избран в состав районного комитета, кандидатом в члены. Это сообщение меня сначала даже немного разозлило: мне показалось, что Шейкин льстит мне, стараясь вызвать меня на еще более активную работу в заводской организации. Но Шейкин не обманывал. На заводском собрании комсомольцев меня избрали делегатом на районную конференцию. На самой конференции Шейкин выдвинул меня в состав мандатной комиссии, рекомендовав как «молодого, но растущего» комсомольского работника. Шейкина поддержал секретарь райкома. В ходе конференции Шейкин уговорил меня выступить в прениях, причем намекнул, что выступление должно быть красочным и остроумным. После этого я оказался в избирательном списке и, наконец, действительно был избран кандидатом в члены пленума. Тогда, после окончания конференции, я понял, что Шейкин принадлежал к разряду таких комсомольских работников, которым не только известны все тайны райкомовской «кухни», подготавливающей выборы комсомольских органов, но которые сами являются «поварами» этой «кухни».

Избрание меня кандидатом в члены пленума райкома, конечно, было для меня приятным: как-никак, в райком выбирали «лучших из лучших», а кто не хочет числиться в «лучших»? Однако, вскоре мне пришлось пожалеть об этом. Особенно после того, как два члена райкома были переведены из кандидатов в члены пленума.

Первым секретарем райкома был избран на пленуме тот же Миронов, о котором говорилось выше. Его рекомендовал секретарь райкома партии Вербицкий, указав, что Миронов обладает большими организаторскими способностями и имеет хорошую идеологическую подготовку.

«Организаторские способности» Миронова приносили немало забот нам, рядовым членам пленума. О личном времени уже не могло быть и речи. Не считаясь с тем, что многие из нас работали на заводах, он посылал нас проверять комсомольскую работу на других предприятиях, после чего надо было составлять соответствующие отчеты пленуму. Кроме того в райкоме было так заведено, что на каждом комсомольском собрании первичной организации должен был при-

существовать представитель райкома, в обязанности которого входило контролировать работу собрания и следить за тем, чтобы она проходила на «высоком идейном уровне». Поэтому, хотя пленум райкома собирался и редко — раз в два-три месяца, — нам приходилось присутствовать и отчитываться на каждом заседании бюро райкома, а эти заседания собирались еженедельно, начинались обычно часов в шесть вечера и заканчивались поздно ночью.

Как-то раз Миронов поручил мне проверить работу первичной организации на заводе бетонных труб. Прибыв на завод, где работали малоквалифицированные рабочие, я сразу же встретился с большими трудностями. Мне потребовался целый час, чтобы разыскать секретаря комсомольской организации Горелкина, так как опрошенные мною рабочие его просто не знали. Наконец, мне был представлен вихрастый молодой бетонщик.

— Давайте посмотрим ваше комсомольское хозяйство, — обратился я к нему. — Я — член пленума райкома комсомола и прислан к вам по поручению товарища Миронова.

Горелкин повел меня в небольшое помещение, находившееся в бараке управления завода. Здесь было пыльно и грязно. Видно было, что в помещении заводского комитета комсомола давно уже никто не бывал и не прибирал его. Горелкин растерялся. Я помог ему:

— Покажите ведомости уплаты членских взносов, протоколы комсомольских собраний, дела по приему новых членов, регистрацию выполнения отдельными комсомольцами комсомольских поручений.

Все это «хозяйство» лежало на подоконнике единственного окна и было покрыто толстым слоем пыли. Горелкин стал показывать мне отдельные листки со случайными записями, которые были собраны в одной общей папке.

— Вот это — ведомость уплаты членских взносов, — начал пояснять он. — Ее я еще не успел привести в порядок, так как некоторые члены ВЛКСМ по три и больше месяцев не платят взносов.

— Вы разговаривали с ними, привлекали их за это к ответственности? — спросил я.

Горелкин провел рукой по своему вспотевшему лбу.

— Трудное это дело, товарищ член пленума. Работа у нас тяжелая и грязная, а оплачивается плохо. У многих комсо-

мольцев не хватает денег даже на питание. А ведь надо и одежду купить, и в баню сходить, и в парикмахерскую. . .

Слова Горелкина поразили меня своей откровенностью, так как я уже убедился, что вся практика комсомольской работы, снизу доверху, строится на ловком очковитерательстве. Имея уже довольно большой опыт работы в комсомоле, я хорошо знал, что все можно «хорошо устроить», если обладать некоторой фантазией и умением «пустить пыль в глаза». Сам я тоже нередко «пускал пыль в глаза», постепенно погрязая в болото кругового обмана, ибо начинал смотреть на комсомольскую работу, как на что-то побочное, необходимое для поддержания своего собственного престижа и положения.

Искренне говоря, у меня не хватило совести дальше проверять работу комсомольской организации, которой руководил Горелкин. Я не хотел его подводить. Но я старался быть официальным:

— Я вот что вам посоветую: давайте условимся, что я вас сегодня не мог встретить. Миронов пошлет меня или кого-нибудь другого на ваш завод не раньше, как через месяц. За это время, — продолжал я намеком, — вы приведете в порядок все документы, подсортируете их, проведете общее комсомольское собрание, чуть подгоните людей к уплате членских взносов. Смотришь, результаты работы будут налицо. А от этого и вам будет хорошо, и райкому приятно. . .

Мы попрощались с Горелкиным друзьями. Месяца полтора спустя он отчитывался на пленуме райкома ВЛКСМ о своей работе. Что меня удивило — он уже знал, как представить работу своей организации, чтобы заслужить похвалу. Доклад его был встречен одобрительно. Миронов даже заметил:

— Приятно сознавать, товарищи, что вот такие ребята, как Горелкин — простые ребята из рабочей среды, умеют руководить делом не хуже некоторых наших комсомольских «профессоров».

Случалось и иначе. Бывало, работает человек, работает добросовестно, кропотливо, а рассказать о своей работе не может, и вместо благодарности он получает незаслуженные обиды. В связи с этим я вспоминаю, как на одном из пленумов разбиралось «дело» старшей пионервожатой одной из средних школ Выборгской стороны — Наташи Поповой. Перед этим группа работников райкома, без предупреждения, обследовала состояние комсомольской и пионерской работы в этой школе.

В своем отчете Попова значительное место уделила тому, как она добивалась, чтобы все школьники стали опрятными, чтобы все пионеры стали носить красные галстуки. Потом она в нескольких словах, торопясь, упомянула, что в школе проводятся вечера самодеятельности с песнями и народными танцами.

— Вот, собственно, и все, что я хотела рассказать, — тихо произнесла девушка и присела на свое место.

Лицо Миронова нахмурилось:

— Очень мало вы рассказали пленуму о вашей работе, товарищ Попова, — сказал он с подчеркнутой официально-стью. — Работа у вас очень и очень ответственная. А рассказать путем вы о ней не смогли. Предоставляю слово члену пленума товарищу Шейкину, который с группой товарищей проверял состояние пионерской работы в школе, где работает товарищ Попова.

Шейкин умел говорить, говорить в духе особой логики, присущей всем вышколенным партийно-комсомольским работникам.

— Товарищи! — начал он, развернув блокнот с записями и опираясь рукой о письменный стол секретаря райкома. — Товарищ Попова, несомненно, хорошая девушка и хороший товарищ. Но уже из ее доклада о работе в школе вы заметили, что она слабо разбирается в главном. Свое время она уделяет воспитанию опрятности у школьников, развлекает их играми и танцами, следит, чтобы пионеры носили красные галстуки. Но, повторяю, главное не в этом. В первый день пребывания в школе мы разговаривали с некоторыми пионерами и комсомольцами. Многие пионеры не знают торжественного обещания, которое дается при приеме в пионерскую организацию. О чем это говорит? Это говорит о том, что политико-воспитательная работа — главное, на чем должна базироваться работа старшей пионервожатой, — поставлена в школе плохо. Товарищ Попова не информировала нас об этом, не просила помощи. Отсюда следует, что она легкомысленно, поверхностно относится к своим обязанностям, старается прикрыть неблагополучное положение дел в пионерской организации школы «опрятностью ребят» и видимостью «организованного отдыха».

Заглянув в свой блокнот, Шейкин продолжал:

— В школе, где работает товарищ Попова, имеются различные кружки — от кружка шитья и вязанья до кружка

хореографии. Но там нет такого кружка, который бы знакомил школьников с традициями революционной борьбы в нашей стране, с биографиями наших вождей — Ленина и Сталина. А ведь в школе достаточно опытных учителей с большим партийным стажем; они бы с большим удовольствием оказали товарищу Поповой помощь в деле воспитания подрастающего поколения в духе преданности коммунистической партии и ее историческим задачам. . .

С проектом решения выступил сам Миронов. Он предложил поставить Поповой на вид допущенные ею ошибки и просить городской комитет комсомола послать ее на повышенные курсы пионервожатых, где она могла бы улучшить свой опыт пионерской работы; на ее место просить замену. Пленум единогласно принял предложение Миронова.

Здесь я должен заметить, что рядовые члены пленума райкома почти не играли никакой роли в руководстве районной организацией. Хозяином положения было бюро райкома, а в бюро — первый секретарь. Пленумы райкома, как я уже отмечал, собирались редко, и они носили чисто декоративный характер.

4. Бюрократизм и очковительство

В завкоме комсомола Механического завода я был ответственным по вопросам печати и популяризации жизни и деятельности организации. Редакция газеты «Смена» — органа Ленинского городского и областного комитетов ВЛКСМ — часто давала мне задания писать о молодых стахановцах, о собраниях и обязательствах в честь коммунистических праздников. Надо признаться, что волей-неволей мне приходилось давать «дутые» материалы.

К примеру, скажем, какой-то цех занял первое место в предмайском соревновании, выполнив месячную программу раньше остальных. Тогда я сообщаю, что комсомольская организация этого цеха заняла первое место в предмайском соревновании комсомольских организаций завода. Добавляю, что комсомольцы устраивали «стахановские вахты», показывали пример трудовой дисциплины. На самом же деле они работали несколько не лучше других. Досрочное выполнение программы было делом рук плановиков, начальника цеха и других мастеров, которые умели более целесообразно исполь-

зовать наличные возможности и правильно руководили рабочей силой. . .

Примером формализма в пропаганде может служить следующий факт. Главным фотокором в газете «Смена» был мой хороший приятель. Время от времени он звонил мне на завод и говорил:

— Николай! Нужен хороший фотоэтюд, показывающий молодых стахановцев Ленинграда на отдыхе. Я приеду к тебе к концу работы. Будь другом, организуй!

Я немедленно звонил знакомым девушкам и ребятам, которые одевались приличнее других. После работы мы собирались в заводском комитете комсомола, вооружались гитарой и патефоном и вместе с фотокором шли в соседний парк. Здесь он рассаживал моих «передовиков» по своему вкусу и делал снимки. Лучший из снимков помещался в газете и сопровождался, примерно, такой надписью: «Весело звучит гитара стахановца Шапкина. Под ее аккорды танцуют в районном парке культуры и отдыха передовики производства...»

. . . Почти всегда был одинаков ход комсомольских собраний. Сначала отчет секретаря организации об общих успехах и отдельных недостатках. Затем выступления в прениях — тоже об успехах и недостатках, но уже не всей организации, а отдельных людей. Наконец, — принятие решения. В решении всегда было две части. В первой констатировалось, что за истекший период комсомольской организацией была проделана большая работа (сделано то-то и то-то), но отмечалось, что были, однако, отдельные недостатки и упущения (они тоже перечислялись, но в пропорциональном отношении их всегда было меньше, чем успехов и достижений). Во второй части решения перечислялись задачи на будущее и устанавливался срок их выполнения.

Такие решения принимались по всем вопросам: по вопросу политико-просветительной работы среди молодежи, по вопросу развития движения многостаночников, по вопросу спорта и так далее. Дух этих решений оставался постоянным из года в год. Комсомольцы относились к собраниям как к своеобразной повинности. За отсутствие на собрании без уважительных причин им грозили большие неприятности, вплоть до вызова на пленум райкома ВЛКСМ.

Характерной чертой общих комсомольских собраний было то, что они никогда не проходили в атмосфере непосредственности. Комитет комсомола планировал все до мельчай-

ших подробностей. Заранее определялся регламент выступлений в прениях и составлялись списки тех, кто будет выступать; заранее намечались составы президиума и редакционной комиссии собрания. И все это формально утверждалось присутствующими на собрании комсомольцами, благодаря чему создавалась видимость внутрикомсомольской демократии.

Много формализма было в комсомольской отчетности. Первичные организации, отчитываясь перед местными комитетами комсомола, старались выложить массу цифр: и число комсомольцев-стахановцев, и количество организованных бесед, и количество читок газет, проведенных в нерабочее время. Цифра в комсомольском отчете была важнее существования проделанной работы, ее полезности и необходимости. Она заслоняла все. Такая отчетность текла бесконечным потоком из одного комсомольского органа в другой, снизу доверху.

Понимать все это начинал каждый комсомольский работник, прошедший даже самую незначительную школу практической руководящей работы. Он видел, что формализм и бюрократизм исходят сверху и поэтому относился к ним, как к чему-то неизбежному.

5. За родину, за Сталина! . .

Весной 1941 года заводской партийный комитет предложил всем членам заводского комитета комсомола, еще не состоящим в партии, подать заявление о вступлении в ВКП(б). Меня это предложение застало врасплох. Ведь тогда мне еще не было полных двадцати лет и я еще не задумывался всерьез о своем будущем. Однако надо было принимать какое-то решение. Я понимал, что малейшее мое колебание может быть истолковано, как скрытая форма нелояльности к партии. Но вступление в партию пугало, как прыжок в неизвестность: пребывание в партии ассоциировалось у меня с чем-то особо ответственным и трудным. Наконец я решился и подал заявление. Подал, если быть откровенным, не столько потому, что не находил соответствующей формы лояльного отказа, сколько по чисто «шкурным» соображениям. И вот в связи с чем.

В народе все чаще и чаще стали циркулировать слухи о скорой «большой войне». Намеки о возможно скором столк-

новении «двух миров» проскальзывали и в словах официальных лиц — у лекторов в партийных клубах. Предвидя, что мне скоро снова придется воевать, я и решил вступить в партию — чтобы идти на фронт не рядовым, а каким-нибудь политработником, которым — я знал это уже из своего опыта — удастся значительно легче сохранить свою голову.

Мне, как и другим членам комитета, вручили карточку кандидата в члены ВКП(б). Прямо скажу, что вступление в партию никоим образом не изменило течения моей жизни, ни в личном плане, ни в политическом. Парткомитет завода оформив наше вступление в ВКП(б), больше нас не беспокоил и не втягивал ни в какие чисто партийные дела. Он был доволен тем, что мы все имели большую «нагрузку» по комсомольской линии. Поэтому, находясь уже в партии, мы по-прежнему чувствовали себя комсомольцами и по-прежнему болели чисто молодежными заботами. Так продолжалось вплоть до начала «большой войны».

С первых же дней войны с гитлеровской Германией советское правительство бросило по «партийно-комсомольскому набору» многие тысячи коммунистов и комсомольцев на фронт с задачей «цементировать» отступающую армию. Коммунисты автоматически были сделаны политруками и заместителями политруков рот, комсомольцы — комсоргами и просто «политбойцами», то есть солдатами, идущими впереди цепей. Не имея достаточной военной подготовки, воспитанные в духе легких побед и ложного советского патриотизма, — они гибли бессмысленно в первых же боях.

Среди этой категории политработников оказался и я. Сначала меня послали в Тамбовское пехотное училище, а потом, после двухмесячного общего военного обучения, бросили на фронт.

В хаосе первого периода войны расчет партии на «цементирование» не оправдался. В панике отступления коммунисты и комсомольцы смешались с общей армейской массой. Часто они даже не признавались, что являются «политбойцами», так как солдаты были настроены весьма враждебно к политическим работникам. «Посланцы партии и Сталина родного» уничтожали свои членские билеты и в общей массе солдат шли на восток. В этот период не могло быть и речи о какой-либо организованной политико-массовой работе в частях.

Перелом начался под Москвой, когда наступление немцев

замедлилось, а затем и вообще приостановилось. Около Наро-Фоминска я впервые за время войны увидел представителя партии и правительства на фронте. Это был Мехлис. Он поспешно собирал армейских политработников и приказывал именем Сталина «любой ценой навести дисциплину в войсках». Тогда же на всех коммуникациях были поставлены заградительные отряды и учреждены специальные комиссии, проверявшие политическую благонадежность выходящих из окружений.

С группой солдат и офицеров разгромленной под Смоленском дивизии я вышел из окружения на Оке, неподалеку от города Туруссы. На другой день, под охраной уполномоченного особого отдела, нас привели в избу, где за столом сидело несколько офицеров в довольно чистой, отутюженной военной форме. Это была комиссия по проверке выходящих из окружения. К моему великому удивлению я узнал среди ее членов секретаря Выборгского района ВЛКСМ Миронова. Он был в форме батальонного комиссара, на его груди поблескивал орден «Красной Звезды».

Наша группа полностью состояла из «посланцев партии». Поэтому опрос начался с требования показать свои партийные и комсомольские билеты. У всех эти документы оказались налицо, так как нам незачем было бросать их: мы откололись от общей солдатской массы и опасаться нам было некого. С немцами же мы на всем пути не встретились. На вопрос комиссии, почему попали в окружение, все отвечали одинаково: дрались до последнего, но потеряли связь с соседями; кроме того, не имели указаний высшего командования, что делать.

После опроса нас вывели в сени для ожидания решения. Во мне закипела злорада на Миронова, который, увидев меня, даже бровью не повел и не пожелал сказать хотя бы пару слов. Приблизительно через час нам дали направление в город Лопастню, где формировалась новая дивизия. Мы собирались идти, как вдруг кто-то выкрикнул мою фамилию. Это был Миронов. Он отозвал меня в сторону и официально пожал мне руку.

— Хорошо, что не смалодушничал и не бросил билета. — сказал он тихо. — В армии наводится порядок. Все меняется. Кто смалодушничал — испортил себе жизнь. Ну, следуй в Лопастню. Я позвоню комиссару дивизии, чтобы тебя

взяли в политотдел на должность помощника начальника политотдела по комсомолу.

— Благодарю, — сухо сказал я, прощаясь. — А где ты?

Миронов широко улыбнулся, посмотрел иронически на меня, небритого и грязного «окруженца», и покровительственно ответил:

— В политотделе штаба армии. Чуть-чуть повыше...

В новой дивизии меня встретили сравнительно тепло. Начальник политотдела, полковой комиссар Головкин, был типичным штатским человеком, военная форма на нем висела, как на вешалке. Перед войной, по его рассказам, он работал в Лужском горкоме партии Ленинградской области.

Дивизия формировалась из остатков многих разбитых частей. Здесь были и московские ополченцы, и ленинградские «политбойцы», и колхозники различных колхозов.

Работу я начал с того, что подобрал для полков ответственных секретарей по комсомолу. Вместе с ними назначил в батальоны и роты комсorgh. Потом я стал заводить «хозяйство» по типу гражданского райкома комсомола. Прием в комсомол производился в полковых организациях, и мне приходилось лишь выдавать комсомольские билеты. Никаких ограничений при приеме в комсомол не было. Наоборот, была директива — вовлекать как можно больше молодых солдат в комсомол. Согласно этой директиве, комсомольские секретари полков обходили в минуты затишья огневые позиции и призывали молодежь в ряды ВЛКСМ. Поступающие в ВЛКСМ писали под диктовку заявления, что хотят идти в бой комсомольцами и, если придется, умереть за Сталина только с комсомольским билетом в кармане.

Из политотдела армии поступало множество всевозможных установок. Поэтому незачем было ломать голову и задумываться, что делать. Практически наши задачи сводились к тому, чтобы перед наступлением организовывать проведение комсомольских собраний, вручать перед боем комсомольские билеты, отбирать особые группы комсомольцев на выполнение наиболее трудных боевых задач, пропагандировать подвиги этих комсомольцев и заботиться об их награждении. Целью же комсомольской работы было — увлекать комсомольским примером остальных бойцов на героические дела.

Когда в войне наступил перелом и советская армия перешла в наступление, легче стало работать с бойцами. Боевой

дух поднимался сам по себе. Помню, перед форсированием Десны мне пришлось проводить комсомольское собрание в одном из полков дивизии. После выдачи комсомольских билетов я спросил, желает ли кто-нибудь добровольно первым переправиться через реку. Добровольцев оказалось больше, чем я ожидал.

Группу добровольцев в семь человек возглавил полковой повар, колхозник Воронежской области Иван Ржевский. Добровольцы хорошо разведали реку, по вспышкам определили расположение огневых точек противника и на плоту, в полнейшей ночной тишине, перетащили на другой берег конец саперного мостика.

Через неделю все семеро получили по ордену «Отечественной войны» 2-й степени и законно гордились ими перед своими товарищами. Больше всех гордился повар, так как он не только получил награду, но и был прославлен по всей армии печатью и пропагандистами.

Газеты с описанием подвига этого повара, по указанию политотдела, зачитывались вслух специальными «читчиками». Героям посвящались ротные и взводные «Боевые листки» — написанные от руки летучки, за выпуск которых отвечали комсомольцы. Каждый печатный орган старался перекрыть другой: «Бейте врага, как комсомолец Ржевский и его боевые друзья!», «Семь смельчаков помогли целому соединению форсировать водный рубеж!», «Презирая смерть, как комсомолец Ржевский, — вперед к победе!»

С продвижением армии вперед все более совершенствовались приемы возбуждения боевого духа солдат. Перед штурмом какого-либо важного рубежа комсомольцам вручались маленькие красные флажки. «Кто первым поставит этот флажок на штурмуемом рубеже, — предупреждали политработники, — тот будет Героем Советского Союза!» И комсомольцы, забывая о смерти, старались опередить друг друга. . . Так был водружен советский флаг и на куполе Рейхстага в Берлине.

Нередко для возбуждения солдатской ярости политотдел использовал ложные факты. Так, например, в боях под Торно группа немецких танков вытеснила советских бойцов с одной важной высоты. Несколько контратак захлебнулось. Тогда командование подтянуло резервную артиллерию и открыло по высоте ураганный огонь. Поддержанная огнем, пехота пошла вперед. В результате отчаянной схватки, свидетелями

которой остались немногие, высота была взята. После боя у одного разбитого немецкого танка был найден обезображенный труп бойца, в кармане которого оказался окровавленный комсомольский билет. Прибывшие на место боя корреспонденты сфотографировали разбитый танк и билет убитого комсомольца. На другой день в армейской газете «Суворовец» была написана большая статья, как отважный комсомолец Н-ской части... со связкой гранат бросился под немецкий танк, принеся себя в жертву победе.

На этом выдуманном политотдельцами факте воспитывались целые соединения. Проводились специальные комсомольские собрания, на которых воины клялись подражать герою с Безымянной высоты.

6. «Вот где база для социализма...»

В западной прессе много уже писалось о том, какой ценой досталась нашему народу победа над Гитлером. Повторять написанное не имеет смысла. Приведу здесь лишь один эпизод, дающий дополнительный материал для обобщений.

В 1943 году, во время одного очередного наступления советских войск, мне пришлось быть на командном пункте одной из дивизий. Командир дивизии, старый заслуженный военный, участник трех войн, вынужденный потребовать от своих полков невозможного — прорвать в лоб бетонированную оборону немцев голым штыком, отвернулся в сторону, закрыл глаза рукой и прошептал: «Не главнокомандующий, а мясник!»

Эта фраза вырвалась из уст профессионального военного — человека, которого, казалось бы, не должны были смущать никакие жертвы. Что же можно было ожидать от таких, как я, кого никогда не обольщала слава солдата? Видя, как людей целыми батальонами гонят под убийственный огонь, я все чаще и чаще стал задумываться и приходил к выводу, что Сталину и его окружению равным счетом ничего не стоит превратить весь наш народ в мясо, лишь бы сохранить систему, лишь бы удержаться у власти. Особенно угнетающе действовали на меня расстрелы перед строем за так называемое «членовредительство» — за то, что отдельные солдаты, чтобы выйти из боя, якобы подставляли под пули ладонь руки. Я почти был убежден, что многие расстреливаемые не были ни в чем виноваты: особые отделы часто

придирались к случаю ранения в руку и, расстреливая несчастных, старались привить страх остальным перед легкими ранами и тем самым принуждали их не щадить себя.

Правда, наряду с «крамольными» мыслями, время от времени в моем сознании всплывала успокоительная формула, что жертвы необходимы, чтобы отстоять завоевания социализма. С переходом наших войск в успешное генеральное наступление я часто вообще ни о чем постороннем не думал, заражаясь общим наступательным духом. Но вот наши части перешли старую государственную границу. И то, что мы увидели, опрокинуло и все мои прежние представления о достижениях советской власти и мою наивную веру, что в нашей стране действительно социализм был осуществлен.

Мы шли по земле «панской» Польши, где, как нас уверяли, еще сохранились остатки крепостного права. Мы шли по земле «гитлеровской» Германии, где, как нас уверяли, крестьяне не выбиваются из нужды. Мы шли и видели, что здесь у каждого крестьянина — благоустроенный двор, добротный скот, превосходные сельскохозяйственные машины, электричество, водопровод. Ничего этого в наших колхозах не было.

Хорошо помню, как после вступления в Восточную Пруссию между двумя молодыми политработниками возник спор. Один из них сказал приблизительно следующее: «Вот страна, где действительно можно строить социализм — надо только обобществить все, что находится в частных руках. Экономическая база для социализма здесь действительно готова». (Он подчеркнул слово «действительно»). Другой стал робко возражать, что главное в социализме не экономическая база, а отношение к средствам производства; поэтому хоть советский колхозник экономически живет и хуже немецкого крестьянина, но социализм в СССР, несомненно, осуществлен.

Я в этот спор не вмешивался. Но я видел, что оба политработника думают одинаково и думают приблизительно так же, как и я, лишь только пытаются облечь свои мысли в допустимую форму. Последний вывод обрадовал меня. Теперь я знал, что не заблуждался в своих подозрениях относительно политики Сталина, что эти подозрения бродят в умах и у других моих товарищей. Особенно это мнение укрепилось после того, как один приятель, разговаривая со мной, как бы невзначай заметил: «Хотим мы того или не хотим, но все мы

в той или иной мере стали декабристами». (Он имел в виду русских офицеров периода войны с Наполеоном, вернувшихся из Европы противниками крепостничества).

Однако все эти оппозиционные мысли у меня, да и у других, не выливались в решимость начать бороться за изменение положения на родине. Мне хотелось верить, что советское правительство само осознает свои ошибки и, считаясь с новыми настроениями солдат и офицеров, круто изменит свою политику.

Решимость пришла позже. В конце 1945 года, уже находясь в оккупационной армии, я получил отпуск и поехал в Ленинград. Никаких изменений в политике советского правительства я здесь не увидел. К разочарованиям политического характера прибавилась личная обида. В родном доме я никого не застал (родители умерли), в комнатах царил хаос, ибо в дом, по свидетельству соседей, приходили какие-то официальные лица и, возможно, производили обыск. Особенно защемило сердце, когда на полу я нашел портрет отца со следами грязных подошв на нем.

Не используя отпуска, я вернулся в Германию. По дороге решил при первой же возможности уйти на Запад. Я не представлял себе, как и чем встретит меня этот Запад, но я твердо верил, что там меня никто не заставит делать то, с чем я не согласен.

Вернувшись из отпуска, я стал осторожно готовиться к побегу.

В один из вечеров я сидел в кругу друзей-офицеров. Мы пили водку. Пили стаканами, желая заполнить хмелем свою внутреннюю опустошенность. Один из офицеров, имевший какое-то отношение к секретной перепiske командования, очевидно желая блеснуть своей осведомленностью, сказал:

— А знаете, друзья, ведь на многих из вас штаны горят!..

Это значило, что кому-то грозит отчисление из оккупационной армии и связанные с этим неприятные последствия, вплоть до разжалования и трибунала.

Изрядно захмелев, я бросил в ответ:

— Ну что ж! Если так, то дорога на запад — не за горами!

...Через несколько дней я был исключен из партии, а вслед за этим — отчислен от армии. Ждать было больше нечего.



Я вспоминаю всю свою жизнь, год за годом, и прихожу к выводу, что мой уход за границу — это логический финал моей комсомольско-партийной карьеры. Именно пребывание в комсомоле и в партии — в организациях, которые лишают своих членов права на их собственную жизнь, которые заставляют своих членов подавлять свою совесть, которые безжалостно эксплуатируют их наивную веру в коммунизм, изматывают и обманывают их, — именно это привело меня на Запад.

А. ДУДИНА

Потерянные годы

Родилась я в Иркутске в 1924 году. Отец мой был коренной иркутянин и принадлежал к старой сибирской семье золотопромышленников, бывших владельцами золотых приисков возле г. Бодайбо. Он получил высшее инженерно-техническое образование и служил в «Водном обществе» в Иркутске, занимаясь исследованием рек Восточной Сибири. Мать вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. А нас было четверо: два брата, сестра и я. Братья были гораздо старше, сестра моложе на три года.

Отца мы знали мало. Он постоянно был в далеких экспедициях. Приезжал домой редко и на короткое время. И хотя в эти дни он старался всячески баловать нас, мы — особенно я и моя сестренка — почему-то его побаивались. Обращались к нему всегда на «вы». Это чувство некоторого страха перед отцом сохранилось у меня на всю жизнь.

Жили мы в Иркутске на Успенской улице, переименованной позднее в Плехановскую, в небольшом собственном доме. У нас был большой огород, было много домашней птицы. Недостатка не было ни в чем.

Наша улица называлась в честь Успенской церкви, величаво красовавшейся на площади. Считалось, что в нашей церкви были самые лучшие колокола в городе, и поэтому в большие праздники на звон этих колоколов в нее стекались толпы народа. Воспоминания о моем раннем детстве связываются больше всего именно с этими праздниками, особенно

с приготовлениями к ним, когда целыми днями резали птицу, жарили и пекли и когда так уютно пахло вокруг наступающим весельем.

Но потом вдруг все изменилось. Настал 1930 год. Приходили наши многочисленные родственники, о чем-то шептались, плакали. Хозяйство наше пришло в запустение: птица, кролики и голуби исчезли, лари с мукой опустели. А церковь — красивую, любимую церковь — взорвали динамитом, и от нее осталась лишь безобразная груда кирпичей. Хотелось понять, что происходило. Но мама стала какая-то молчаливая, часто плакала и только отвечала, что пришла новая жизнь и теперь ни о чем нельзя говорить вслух, а то могут посадить в тюрьму.

Старший брат к этому времени кончил школу и поступил в радиотехникум. Младший работал в ресторане (вернее столовой). Это нам очень помогало. Он приносил домой остатки обедов, и мы были очень рады, так как на базарах уже ничего нельзя было купить, а пайка, который мы получали по продовольственной карточке, нам не хватало.

Деньги теряли цену. Тогда мама собрала все звериные шкуры (их у нас скопилось много, так как отец, возвращаясь из экспедиций, всегда их привозил) и поехала с сестренкой в Москву, где жили ее родственники. Она надеялась обменять эти шкуры на продукты. Вернулась мама лишь через месяц, привезла с собой небольшой запас масла и сахара. За это время мне было очень трудно. Была зима 1931-1932 года. Сибирская зима! Я уже ходила в первый класс начальной школы. Дома не было дров, да и есть было нечего. Я фактически голодала и жила в нетопленной квартире. Спасаясь от холода, иногда я ночевала у тетки, сестры отца.

Из родственников я больше всего знала эту тетю. Она была не такая молчаливая, как наша мать, и каждый раз откровенно (дома, конечно) проклинала советскую власть и всех ее возглавителей. От слов ее негодования порою становилось даже страшно. Еще недавно она была хозяйкой многочисленных домов в Иркутске, которые приносили ей хороший доход. А в 1930 году ее «описали», то есть лишили всяких прав на имущество. Она была вынуждена ютиться в одной комнатухе со своими детьми и тоже голодала, так как не имела права работать.

Вдруг раньше срока вернулся из экспедиции отец: его сократили по службе из-за «буржуазного» происхождения.

Жить стало совсем не на что. Весной 1932 года мы продали дом и покинули Сибирь, переехав в Семилуки, под Воронежем.

С большим трудом отец в конце концов устроился на заводе огнеупорного кирпича. Нас поместили в общежитие, предоставив нам одну комнату. Еду готовили на примусе в общей кухне, где стояла вечная брань: кухня была тесной, а каждая хозяйка хотела вовремя приготовить обед.

В семилукской школе атмосфера оказалась для меня очень тяжелой. Меня называли «лишенкой» и всячески третировали. На всех моих сверстников по классу я смотрела со страхом и была очень довольна, когда занятия в школе подходили к концу.

На службе у отца тоже не ладилось. Через год, то есть в 1933 году, мы переехали в город Липецк. Отец устроился на пивоваренный завод, купил какой-то старый развалившийся дом и в свободное от работы время ремонтировал его, а мы все ему помогали.

В липецкой школе мне было немного легче. Я говорила всем, что я из Воронежа, и на меня смотрели как на равную. В Липецке мы находились и во время голода, когда люди умирали прямо на улицах. В этот страшный голод нас избавило от смерти лишь то, что мои родители сумели сохранить некоторые золотые вещи. Их обменивали на съестные продукты в торгсинах, то есть в специальных магазинах, где все товары отпускались на боны, полученные за золото или драгоценные камни. Чтобы спасти себя от голода, пришлось снять даже серебряные и золотые ризы с икон.

Но и в Липецке мы не остались долго. Переехали в Курск. Вот в Курске и прошла большая часть моего детства и юности.

Здесь, осенью 1934 года, я поступила в 4-й класс школы. Трудно было привыкать к новым товарищам по классу. Я не знала, как себя вести. Не хотелось быть всегда в загоне. Все школьники в моем классе были пионерами и ходили с красными галстуками. Мне стали говорить, что и я должна стать пионеркой. Об этом я рассказала дома. Тогда отец сказал, что я не должна отличаться от других.

На пионерском собрании меня приняли в пионеры. До собрания мне нужно было выучить «Пионерское обещание», которое начиналось так: «Я — юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» Теперь мне

нужно было ходить на пионерские сборы, носить красный галстук. Но дома я как-то стыдилась этого галстука и поэтому по дороге домой из школы прятала его в сумку.

Ни на пионерских собраниях, ни в классе я не чувствовала, что стала борцом за коммунизм. Особенно мне не нравилось то, что в пионерской организации с издевкой отзывались о верующих людях и часто распевали: «Облетели мы весь свет — никакого бога нет». Словам этой песни я не верила и не раз обращалась со своими сомнениями к матери. В ответ мама уверяла меня, что это только коммунисты не хотят признавать Бога, а Бог — с каждым, кто в Него верит. Это меня успокаивало. Но я должна была скрывать от моих соучеников свои личные мысли о Боге. Да и вся атмосфера пионерских собраний мне не нравилась: на них было скучно и много фальшивого. После нескольких таких собраний я решила больше не ходить на них.

Через некоторое время моего отца вызвали письмом в школу. О чем ему говорили там, не знаю, только отец вернулся расстроенный и был как-то особенно ласков со мной. Он сказал, чтобы я была послушной не только дома или в классе, но и в пионерской организации. «Нужно заинтересовать себя пионерской работой», — сказал он.

После этого я стала пристальнее присматриваться к жизни школьного коллектива и пионерской организации. И вскоре нашла в ней для себя интересное место. Это был хоровой кружок. Занятия в кружке позволяли мне избегать всяких «интересных» собраний. Здесь у меня появилось много товарищей. Однако настоящего друга я не приобрела. Вероятно поэтому у меня выработался довольно скрытный характер, и я ни с кем не делилась своими думами и мыслями. Я видела, что дух нашей семьи резко отличался от того духа, в котором воспитывала меня школа, и понимала, что об этом никто из моих сверстников не должен знать.

В своей жизни я могу отметить три события, которые сыграли роль поворотных пунктов в моей психологии. Первое — это взрыв Успенской церкви в Иркутске в 1930 году, слезы и проклятия матери и ее фраза, что ни с кем ни о чем нельзя говорить. Второе — вызов отца в школу, после чего он сказал мне, что нужно покориться судьбе и стараться вести себя в школе как все остальные и думать, что если «так» велят делать, так, значит, «так нужно». И, наконец, третье —

смерть матери, определившая мою привязанность к школе и к пионерской организации.

Должна добавить, что после того, как мы переехали в Курск, отец долго не мог найти работы. Только после многих хлопот ему удалось снова получить ранее потерянное место в «Водном обществе». Но для этого нужно было вернуться в Иркутск. Семья же осталась жить в Курске. Отсутствие отца было продолжительным. За это время мать сильно постарела, часто плакала и заболела. Спешно вызвали отца. После года болезни, в 1936 году, мать умерла. Мне было тогда двенадцать, а сестре девять лет. Отец остался с нами. Он искал выхода из создавшегося положения, ибо мы с сестрой нуждались в постоянном присмотре. В конце концов отец решил жениться вторично. Но ему не повезло. Наша мачеха оказалась недалекой и грубой женщиной. К тому же у нее были собственные дети. Наше положение, пожалуй, еще больше ухудшилось: на нас стали сыпаться колотушки и пощечины. Мы с сестрой искали место, где можно было бы укрыться от злой мачехи.

Как раз в это время у нас появились новые соседи — семья члена партии. Его дети — наши одноклассники — восхищались своим отцом. Вскоре эти дети каким-то образом стали оказывать на нас влияние. В то же время возле нас не было никого из родных, кто бы уделял нам какое-либо внимание. Отцу было не до нас: он сначала был занят разводом, а потом — третьей женитьбой. А время шло и шло. Я все больше и больше привязывалась к школе и сближалась с пионерской организацией. Теперь я уже с гордостью носила свой красный галстук.

В 1939 году я окончила в Курске семилетку. После этого отец опять решил менять место. Мы поселились в Малоархангельске. Моей мечтой было поступить после окончания семилетки в консерваторию. Но оказалось, что для этого нужно было иметь восемнадцать лет, а мне было лишь пятнадцать. В Малоархангельске был педагогический техникум, в который я и поступила, так как другого выбора у меня не было.

Малоархангельск — маленький районный городишко, расположенный в 75 километрах севернее Курска. В этот городок переехала и наша (уже упомянутая) тетя, которая, казалось, теперь совсем примирилась со своим новым положением и больше не проявляла недовольства советской властью.

Под воздействием школьного и пионерского воспитания и в моем сознании постепенно складывалось убеждение в пользу «новой» жизни и рос протест против старого дореволюционного режима.

О комсомоле я слышала еще в семилетке. Говорили, что для вступления в него надо иметь хорошую рекомендацию от пионерской организации. Мне хотелось стать комсомолкой. Я считала, что после этого я буду представлять еще большую ценность для нашей страны. А мне хотелось быть полезной. Что это означало — «быть полезной» — я не смогла бы, пожалуй, тогда сказать. Но мне хотелось быть в первых рядах советской молодежи.

Я была сама себе хозяйкой в выборе своего пути. С тех пор, как я стала пионеркой, отец никогда не выражал ни одобрения, ни порицания по поводу моего увлечения общественной работой. Мое желание вступить в комсомол было моим собственным побуждением. Оно особенно усилилось после моего поступления в техникум, так как здесь я вплотную столкнулась с комсомольской организацией. Эта организация была весьма активной, и почти все старшеклассники были комсомольцами.

В техникуме я довольно быстро приобрела даже некоторую популярность. Во-первых, я хорошо выдержала вступительный экзамен. Во-вторых, я была из Курска. Это сыграло большую роль, так как Курск считался в провинции крупным центром, а в Малоархангельске почти все студенты были выходцами из деревни, детьми колхозников. И, наконец, по мнению своих коллег, я обладала некоторыми артистическими способностями. Я стала принимать активное участие в организованных кружках самодеятельности, а также в профсоюзной организации техникума. В своем классе я была выбрана старостой. Таким образом в глазах своих одноклассников я приобрела известный авторитет, и это льстило моему самолюбию, наполняя меня чувством собственного достоинства.

Еще до вступления в комсомол я должна была познакомиться с задачами этой организации. Для этого мне дали маленькую брошюру «Задачи ВЛКСМ». Кроме того нужно было основательно познакомиться с историей ВКП(б). Краткий курс этой истории нам нужно было изучать и на уроках истории в течение всех трех лет обучения в техникуме: ведь из нас готовили учителей сельских школ, воспитателей мо-

лодого поколения «будущих строителей коммунизма». Но, как предмет изучения, история партии большевиков была самым трудным и запутанным.

Обстановка собрания, на котором меня принимали в комсомол, мне очень понравилась. Все было очень торжественно. В большом зале на сцене стоял покрытый красной скатертью длинный стол, с трех сторон которого важно сидели члены президиума. Была сказана длинная вступительная речь, напоминающая всем присутствующим о значении той работы, которую должны вести комсомольцы. На этом собрании я себя чувствовала как перед трудным экзаменом, к которому плохо подготовлена, но который мне все-таки хотелось сдать.

Вопреки ожиданию, у меня ничего не спрашивали. Нужно было иметь две рекомендации комсомольцев. Я их имела. Один из рекомендующих довольно похвально отозвался о моих стремлениях попасть в первые ряды строителей коммунизма и заверил собрание, что мне вполне можно доверить любое задание. Поручители расписались под моим заявлением о приеме. Мне выдали комсомольский билет, и я произнесла слышанную уже не раз, известную и среди пионеров и среди комсомольцев фразу, кончавшуюся словами: «Я благодарю партию и комсомол за великое доверие и постараюсь его оправдать всей своей жизнью и поведением». Это было в октябре 1939 года.

Чувство радости, смешанное с гордостью, было на душе. Я почувствовала себя полноценнее, чем была накануне. Восторженная, я пришла домой и показала комсомольский билет отцу. Но отец мельком взглянул на него, небрежным жестом бросил его на стол и проговорил: «А! Ты уже комсомолкой стала». И в этих словах было много горечи. Он как бы проснулся и как бы теперь впервые увидел меня перед собой. Я, смущенная, потихоньку вышла из комнаты. Слезы подкапывались к горлу: отец внутренне осудил меня. Правда, через несколько дней впечатление от этой сцены с отцом несколько сгладилось. Я решила, что у отца в тот день было плохое настроение. Но все же стала избегать разговоров с ним о моей жизни в техникуме и в комсомольской ячейке.

Вместе с тем у меня появилось к отцу некоторое предубеждение. Это чувство особенно усилилось после одной очень неприятной семейной истории. Мой старший брат навсегда поссорился с отцом и, женившись, остался жить в Курске. Я с ним изредка переписывалась, дав ему адрес техникума.

Однажды одно из писем брата попало в руки отца. Отец был вне себя от негодования. («Как ты можешь переписываться с ним, если отец его знать не хочет?»). Попало не только мне, но и комсомолу и советской власти за такое воспитание детей.

Что я могла сказать в ответ? Мне было жаль отца и тем не менее в душе я его обвиняла за то, что он так мало интересовался нашим воспитанием, никогда не спрашивал чем мы занимаемся, как я провожу свободное от занятий время. Он все время был занят устройством своей личной жизни, а теперь вдруг стал высказывать недовольство нашим поведением. Это совсем оттолкнуло меня от отца.

Почти все студенты техникума были членами комсомола, а студентов было 360 человек. Секретарем комсомольской организации был студент старшего класса. У него была довольно симпатичная внешность, а главное — он умел много и долго говорить, хотя все его длинные речи всегда состояли из одних и тех же фраз и не были убедительны. Его выступления на собраниях выслушивались с натянутым вниманием, и все были очень довольны, когда речь оканчивалась, награждая оратора бурными аплодисментами. После выступления секретаря, как правило, давались поручения или делался обзор международных событий по газетам «Известия» или «Правда».

Одна из заповедей комсомольца гласила: подготовить себя для обороны страны. Для этого нужно было изучать санитарное дело, научиться владеть винтовкой, противогазом и заниматься спортом. После определенного экзамена по теории и практике этих видов подготовки к обороне, выдавались соответствующие нагрудные значки: ГТО первой и второй степени («Готов к труду и обороне»), ВС («Ворошиловский стрелок»), ГСО («Готов к санитарной обороне») и др.

Но эта подготовка меня мало привлекала. Да и к комсомольской ячейке в целом я не испытывала особой привязанности. Зато проявляла большую активность во всевозможных кружках при техникуме, которые не всегда руководились непосредственно комсомольской организацией. Такими кружками были: хоровой, литературный, географический и кружок затейников.

Был еще один важный пункт в моих отношениях к комсомольской организации: несмотря на то, что я стала комсомолкой, я по-прежнему верила в Бога, любила церковные праздники, которые у нас в доме всегда соблюдались. Но в цер-

ковь я не ходила, боясь встретить по дороге кого-нибудь из комсомольцев. О своих религиозных чувствах я ни с кем из комсомольцев никогда не говорила.

Обычно в дни больших церковных праздников в техникуме устраивались продолжительные вечера антирелигиозного характера: пели всякие частушки-прибаутки и всемерно издевались над церковными служителями, выводя их в самом смешном виде. Это мне было не по душе. Но делать было нечего: я тоже должна была присутствовать на этих вечерах.

В один из пасхальных дней у нас были практические занятия в одной из начальных школ в Малоархангельске. Класс был переполнен: было 35 школьников, столько же студентов, наш профессор методики и учительница класса. Урок вела учительница, а мы на этот раз были пассивными практикантами. В середине урока в класс вошла девочка лет десяти с большим красным бантом на голове, одетая по-праздничному. Учительница спросила у нее, почему она так поздно пришла на урок, и она совершенно спокойно ответила: «Мы разговлялись». Малыши и наши студенты грянули громким смехом. Но не до смеха было учительнице. По ее лицу было видно, что она не знала, как ей поступить. Она растерялась. Потом она довольно грубо сказала девочке, что поговорит с ней позже и вызовет ее родителей в школу для объяснения. Настала мертвая тишина.

Описав этот случай, я хочу мимоходом сказать, что тогда немало молодежи было верующей, несмотря на закрытие церквей, на всевозможные запрещения и внушения детям в школах, что Бога нет, а религия — предрассудок.

Моя религиозность как-то уживалась с остальным содержанием «социалистического воспитания», которым была пронизана вся жизнь техникума. Я была большой общественницей, говорила общепринятыми советскими фразами и была убеждена, что во всем мире нет другой такой страны, как Советский Союз, где так «счастливо» живут люди. К коллективу техникума я испытывала большую привязанность, и мое мнение почти всегда сходилась с мнением этого коллектива.

Первое непосредственное комсомольское поручение я получила лишь на втором году пребывания в комсомоле. Мне нужно было собрать собрание колхозников в маленькой деревушке под Малоархангельском и выяснить, имеются ли среди них неграмотные, а потом организовать школу ликбеза (ликвидации безграмотности). Это было не так-то просто

сделать, ибо колхозников долго не удавалось собрать. Неграмотных оказалось двое: бородатые загорелые крестьяне за шестьдесят лет, которые совсем не горевали, что они неграмотны.

Я приступила к занятию с ними. Для меня это был нелегкий труд. Два раза в неделю я должна была после занятий в техникуме проделать шесть километров пешком. Так продолжалось восемь месяцев. Но вот мои бородачи научились писать свои фамилии и немного читать по слогам. От дальнейших занятий они наотрез отказались: «Стары мы уж больно стали, чтобы нас грамоте учить». Я старалась возразить, что в Советском Союзе стыдно быть неграмотным, что теперь не царское время, когда неграмотность поощрялась, чтобы легче было эксплуатировать народные массы. А они мне: «Эх, молоденькая ты уж больно! А при царе-то и неграмотным легко жилось». «А разве вам, — спросила я, — плохо теперь живется при советской власти в колхозе?» «А? Нет-нет... хорошо». В последних словах стариков слышалась явная ирония. Я расценила все их разговоры о царе как следствие их «темноты» и «отсталости». Главным и приятным для меня было тогда то, что мои колхозники научились читать и писать.

На комсомольских собраниях меня иногда спрашивали, как подвигаются мои занятия с неграмотными. А потом, когда мои подшефные отказались заниматься, я сделала официальный отчет о своей работе. Я заявила, что мои колхозники с большим удовольствием посещали занятия и теперь самостоятельно читают газеты. Про упоминание о царском режиме я умолчала: зачем подвергать бедных стариков неприятностям.

Второй «нагрузкой», полученной от комсомольской организации, была воспитательная работа среди детей колхозников. Каждый выходной день, после обеда я приходила в сельскую школу, расположенную в четырех километрах от Малоархангельска, где меня с нетерпением ожидала орава детей. С детьми я чувствовала себя очень легко. Они меня любили и часто в те дни, когда я должна была, прийти к ним, целой гурьбой шли меня встречать. Я научила их некоторым играм. Но особенно они любили слушать, а потом инсценировать «Рассказы пограничников» — о том, как советские пограничники героически охраняют рубежи советского государства, находясь в постоянной борьбе со шпионами, ди-

версантами и контрабандистами. Я и сама любила эти рассказы и верила в их правдивость. Иногда мы делали прогулки или же ходили в кино, и во всем я должна была проводить строго советское воспитание и поднимать советский патриотизм в детях. Два года продолжалась для меня эта «нагрузка».

Самым неприятным поручением от ячейки было разносить облигации. Такого поручения, к счастью, я не получала. Это поручалось уже более старшим.

В один из выходных дней в сентябре 1940 года, рано утром, вся наша организация направилась к зданию горкома комсомола. Туда же стекались комсомольцы и других организаций города. Всего собралось, приблизительно, до тысячи человек. Нас построили по взводам, и мы длинной колонной пошли в ближайший птицесовхоз, где требовалась помощь при уборке урожая (там были большие участки гороха, чечевицы и морковки). Во время работы я заметила, насколько наплевательски относились комсомольцы к государственному добру. Много овощей и злаков было истоптано и изгажено. Работали нехотя. Как мне казалось, достаточно было бы одной работающей семьи в пять-шесть человек, чтобы в два-три дня убрать весь урожай. Мы же в таком большом числе провозились до позднего вечера. Урожай был сложен в большие кучи, на которых и валялись и топтались наши «строители коммунизма». Я видела, как многие комсомольцы крали яйца из курятников и втихомолку покупали у рабочих совхоза краденых кур.

Этот поход в совхоз оставил у меня на душе очень неприятный осадок. Но на следующем комсомольском собрании нам была прочитана благодарность от горкома. В ней говорилось, что наши комсомольцы оказали огромную помощь государству. Вообще, как я заметила, все благодарности в СССР высказывались в одних и тех же общих фразах, и если верить им, то может создаться впечатление, что все те, кто получал эти благодарности — идеальные люди и непорочные борцы за коммунизм. Жизнь же показывает этих людей совсем иными.

Хотя я и была комсомолкой по убеждению, но суровая правда жизни нет-нет да и заставляла меня задумываться о виденном и слышанном, что часто противоречило идеям коммунизма. Я стала задумываться над репликами неграмотных стариков-колхозников, которых я обучала грамоте. В селе,

где я работала с детьми, я познакомилась с председателем колхоза — самовлюбленным мужиком-коммунистом, который смотрел на своих колхозников как на крепостных. Я узнала, что уполномоченные по подписке на заем угрозами заставили моего отца подписаться на месячную пенсию (99 рублей). Все эти факты откладывались в моей душе и вызывали в ней смутение. Я старалась найти оправдание, но вместо этого все больше и больше убеждалась в том, что советская действительность лишь сопровождается напыщенными фразами и выкриками о победах, а на самом деле она выглядела жалкой и непримечательной.

Но вот началась война. Она вызвала полный всеобщий переполох. «Что будет дальше?» — этот вопрос не выходил из головы. Всю нашу молодежь отправили в колхозы для уборки урожая. Работать пришлось вручную. («Где же те машины, о которых так много писалось и говорилось?» — спрашивала я себя). Спали на соломе. Работали целый день. Немцы приближались. Становилось страшно. («Где же прославленная мощь нашего государства?» — снова спрашивала я себя). Советская власть сбежала. Мы вернулись к себе в город. Говорили, что всех комсомольцев немцы перестреляют. Вспомнили частушки:

Пароход идет, вода кольцами —
Будут рыбу кормить комсомольцами. . .

Первое, что меня потрясло после ухода советов из нашего города — это пожар в здании милиции. Когда я пришла на место пожара, огонь уже сделал свое дело. Только кое-где дымились обуглившиеся балки. Должна сказать, что в здании милиции я была два или три раза при получении паспорта, когда мне исполнилось пятнадцать лет. Это было довольно благоустроенное учреждение, насколько может быть таковым район милиции. Но теперь, когда обгорели всеходы, оно выглядело жутко. Тогда я впервые увидела тюрьму, хотя официально ее в городе не было. Здесь, в этом обгоревшем здании, было десять камер-казематов с бетонными стенами и толстыми железными дверями. Вверху каждой камеры была узкая щель вместо окна. На стенах были выцарапаны имена и даты. Когда я присмотрелась к этим надписям, то установила, что всюду эти даты были послереволюционными. В одном же месте было выцарапано: «Смерть советам».

В этот день не было конца моим «открытиям». Вокруг обгоревшего здания и по всем казематам бегали люди. Стоял сплошной шум и крик. Сразу трудно было разобрать, что это были за люди. Они толкались, искали своих мужей, сыновей, отцов. С трудом я стала понимать, в чем дело. В казематы были посажены незадолго до начала войны многие граждане, арестованные как «подозрительные». При эвакуации города работники НКВД всех их расстреляли и сбросили трупы в какой-то колодец, находившийся в одном из казематов. Предварительно трупы были облиты керосином, а потом в колодец бросили горящую паклю. От этого и начался пожар...

Женщины и дети, бегавшие по коридорам, иногда находили какую-либо вещь — шапку или пояс — дико вскрикивали: «Это его, это его. . .» Все увиденное мною было подобно кошмарному сну. Но увы! Это была действительность. А ведь как я верила в гуманность советской власти! И теперь вся вера рухнула в моем сознании. Я шла, спотыкаясь, домой, а перед моими глазами все стояла жуткая картина, явно свидетельствовавшая о жестокости и варварстве сбежавших коммунистов.

Но это было еще не все. Раньше я считала, что советский трудовой народ в своем большинстве народ «сознательный», то есть поддерживает дело коммунизма и составляет с советским правительством одно целое, а теперь я видела, что как только советы ушли из города, все эти «сознательные» советские граждане бросились громить здания горсовета и других учреждений, жгли бумаги, разбивали мебель, били стекла, как бы срывая зло на этих бездушных свидетелях советского режима. Стало совершенно ясным, что между народом и властью лежала бездонная пропасть.

Я ходила, как убитая. Голова не вмещала виденного и слышанного. Наконец пришло отрезвление. И тогда я бросила свой комсомольский билет в огонь, предварительно разорвав его на несколько клочков. Это доставило мне большое удовольствие.

В это время отец мой как-то воспрял духом и однажды спросил у меня: — «Ну, где же твои хваленые коммунисты?» Что я могла ответить ему?

Из разговоров с немцами выяснилось, что народ в Германии при гитлеровском режиме живет гораздо лучше, чем при построенном «социализме». Я только теперь заметила, что у меня было всего одно платье, в котором я ходила в школу

и была дома. Мое белье было дешевое и самодельное. Все последние годы я носила красный собственноручно связанный берет и грубые спортивные ботинки «Скороход» на резиновой подошве.

Советские аэропланы начали днем и ночью бомбить городок. Жизнь висела на волоске. Начался беспощадный голод. Я пробовала ходить в дальние деревни, чтобы купить что-нибудь из продуктов, но крестьяне сами ничего не имели. Дошло до того, что на призыв немцев добровольно ехать на работу в Германию многие откликнулись. В первой партии уезжающих было две тысячи человек и среди них я. Отец благословил меня в далекий путь и расплакался. Это был путь без возврата.

Находясь на чужбине, я многое, а пожалуй, и все оценила по-новому. «Кем я была дома? Чему я научилась? Что я умею?» — так спрашивала я себя и находила прямой ответ: «Я была рабыней коммунизма, слепо повторяла пустые, ничего не значащие фразы о патриотизме, героизме, равенстве и братстве. Я ничему не научилась. Я посвящала все свое свободное время делу, которое оказалось преступным, направленным против народа». Пришлось убедиться, что лучшие годы я зря потеряла в комсомоле.

В 1947 году мне довелось видеть, как парижские студенты устроили демонстрацию против существовавшего тогда правительства. Мне, получившей советское воспитание и выросшей в «свободной» стране, было страшно смотреть на такую манифестацию протеста против власти. Я думаю, что если бы кто-нибудь из знавших меня, встретил бы меня в ту минуту, то прочел бы на моем лице ужас, как у дикаря, привыкшего поклоняться своему деревянному идолу и увидевшего, что этого идола бросили в огонь.

Горек хлеб на чужбине. Я дважды уходила от хозяев-французов в советские репатриационные лагеря. И оба раза бежала, увидев людей из «советского рая». Наконец я твердо решила: среди них мне больше не бывать, надо строить свою личную жизнь за границей.

В заключение хотелось бы ответить на вопрос: что же такое комсомол?

Это политическая организация, в которую привлекают советскую молодежь, с раннего детства, подготавливая ее к этому, набивая ей голову небылицами о свободе и равенстве,

превращая эту молодежь в слепое оружие коммунизма. У этой молодежи отбирают все свободное время на ненужные собрания, на казенные демонстрации, на пустые поручения, не оставляя даже ни одного часа на развитие в себе человеческих качеств, способностей и настоящей культуры.

Советская система держится на страхе, насилии и обмане. В плену их долгое время находилась и я, хотя и поддавалась порою обманчивому увлечению. Но теперь, наконец, от принципов советской системы я избавилась совершенно, а от своего ослепления излечилась навсегда.

ZOPE, München 19, Renatastr. 77. – ZOPE, Berlin W 30, Martin-Luther-Str. 88.

Satz u. Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstrasse 3 b